

Б876

Р.дeля Брестон



ИЗДАТЕЛЬСТВО "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
МОСКВА = ЛЕНИНГРАД,

1924

Никола Анн-Эдн РЕТИФ ДЕ ЛА БРЕТОН

НОЧИ РЕВОЛЮЦИИ

Перевод с французского Анастасии Николаевны Чеботаревской

М.-Л.: Молодая гвардия. 1924

ОГЛАВЛЕНИЕ

От издательства
Великая Французская революция (очерк)

ВВЕДЕНИЕ

- I. Первые дни революции, рассказанные в кафе де-Фуа
- II. День 12 июля 1789 г. — Атака принца де Ламбек в Тюильери. — Улицы Парижа ночью 12 июля
- III. Боязнь разбойников: патрули и мнимые патрули (13 июля 1789 г.)
- IV. Вид Парижа после взятия Бастилии. — Ретиф арестован и отведен на гауптвахту. — Он должен проститься с островом Сен-Луи (14 июля 1789 г.)
- V. Король возвращается в Париж (17 июля 1789 г.)
- VI. Казнь Фулона и его зятя Берне де Совиньи (22 июля 1789 г.)
- VII. Октябрьские дни; король, королева и дофин привезены в Париж (5 и 6 октября 1789 г.)
- VIII. Праздник Федерации
- IX. Рыцари кинжала (27–28 февраля 1791 г.)
- X. Жители Парижа противятся отъезду короля в Сен-Клу (17–18 апреля 1791 г.)
- XI. Бегство в Варенн (20–21 июня 1791 г.)
- XII. Сборище на Марсовом поле для подписания петиций о низложении короля. — Стычки и убийства (17 июля 1791 г.)
- XIII. Политическое положение около 26–27 сентября 1791 г.
- XIV. Две ночи в саду Тюильери (25–26 сентября 1791 г. и 19–20 июня 1792 г.)
- XV. «День санкюотов» (20–е июня 1792 г.)
- XVI. 10 августа 1792 г. — Осада Тюильери. — Король ищет убежища в стенах Национального Собрания XVII. Ночные обыски (28–29 августа 1792 г.)
- XVIII. Сентябрьские избиения (1792)
- XIX. Продолжение убийств в Сальпетриере (3–4 сентября 1792 г.)
- XX. Король и его семья в башне Тампль (5–6 октября 1792 г.)
- XXI. На Ретифа нападают на острове Сен-Луи (3 ноября 1792 г.)
- XXII. Провозглашение Республики (21 сентября 1792 г.)
- XXIII. Людовик XVI перед судом Конвента (25 – 26 декабря 1792 г.)
- XXIV. Защита Людовика XVI (16 января 1793 г.)
- XXV. Убийство члена Конвента у ресторатора Феврие в Пале-Рояле (20 января 1793 г.)
- XXVI. Казнь Людовика XVI (21 января 1793 г.)
- XXVII. Ночные обыски в Пале-Рояле (27–28 января 1793 г.)
- XXVIII. Разгром молочных лавочников (26–27 февраля 1793 г.)
- XXIX. «Опустошения» (18 февраля 1793 г.)
- XXX. Измена Дюмурье (2–4 апреля 1793 г.)
- XXXI. Торжество Марата (24 апреля 1793 г.)
- XXXII. День 31 мая. — Нападение на Конвент (2 июня 1793 г.)
- XXXIII. Убийство Марата (13–17 июля 1793 г.)
- XXXIV. Празднование Республики (10–28 августа 1793 г.)
- XXXV. Казнь Кюстина (27 августа 1793 г.)
- XXXVI. Обвинение жирондистов (3 октября 1793 г.)
- XXXVII. Политические взгляды автора
- XXXVIII. Процесс и смерть Марии-Антуанетты

Нашему читателю

Предлагаемая читателям книга Ретиф де-ла-Бретонна «Ночи революции» представляет собою ряд очерков Великой Французской Революции, написанных её современником.

Автор — отнюдь не революционер. На революцию он смотрит через очки пошлого обывательского скептицизма. Выходец из крестьянской среды, оп до седых волос (в 1789 году ему исполнилось 56 лет) сохранил крестьянское предубеждение против всех властей и всяких законов; но все же «старый порядок», в общем ближе его сердцу, чем режим революции... Следующая мысль проходит лейт-мотивом через все его записки; «Убежденный в несовершенстве человеческих законов, я в то же время чувствую, что ни одно общество не может существовать без них. Я чувствую больше того: что к законам следует прикасаться лишь с величавшей осторожностью, так как потрясения, вызываемые их изменением, всегда производят весьма реальную и с голь чувствительную боль, лишая человека его привычек» (стр.102).

Обывательский консерватизм искажает перед автором исторические перспективы. «Ночи революции» рисуют главным образом, оборотную, низменную, «закулисную» сторону событий. Революция, преображенная обывательской психикой, представляется в виде бесконечной цепи насилий и грабежей, издевательств над «священными правами личности» и массовых разрушений. Соприкасаясь впервые с революционными парижанами, только что сокрушившими твердыню старого режима — Бастилию, автор, по собственным его словам, испытывает только чувства содрогания и неудержимой ярости... Пожар Бастилии побуждает его отметить в своем дневнике: «Неистовые люди, с высоты башен, бросали в ров бумаги, документы, драгоценные для истории... Дух разрушения носился над городом» (стр.31). Описание этого исторического дня заканчивается следующей пошлостью: «Я вижу тучу бедствий, нависшую над злополучной столицей французов»...

Вся книга пересыпана комплиментами по адресу таких людей, как «добродетельный Байлли» и «молодой герой Лафайет» — да еще самодовольными ссылками на ранее написанные автором произведения.

Выпуская «Ночи революции» в русском переводе, мы руководствовались теми соображениями, что эта книга — при всех своих недостатках — может принести известную пользу при изучении Великой Французской Революции. Она написана обывателем, но ему нельзя отказывать в некоторой наблюдательности. «Ночи революции» — документ эпохи. Нужно только к этому документу подходить строю критически, отметая в сторону все субъективные выводы автора и отделяя подлинное «ядро» событий от обывательских прикрас.

Для того, чтобы помочь читателям разобраться в описываемых автором, часто не связанных между собою событиях, мы помещаем в виде предисловия краткий очерк истории Французской революции 1789 года.

Издательство «Молодая Гвардия»

От редакторов Vive Liberta

Можно предполагать, что от имени издательства выступил тот же Н.Ярко, который предposлал книге «очерк». (Очерк как очерк, каким он может быть, написанный не специалистом и втиснутый в жестко ограниченное количество печатных знаков.) Но если обратиться к научно-исследовательской литературе, социально-политические взгляды Ретифа интерпретированы совершенно иначе. Стоит прочитать, к примеру, посвященную Ретифу главу в монографии А.Р.Иоаннисяна «Коммунистические идеи в годы Великой французской революции». Николай же Ярко, он же Мелетий Александрович/Евлампиевич Зыков, он же, вероятно, Н.Мосивич, или Вольпе, или Аптекман, отметившийся как партийный функционер, а потом, во время Великой Отечественной войны, - власовец. Это так, к проблеме трескучих псевдореволюционных фраз.

Великая Французская Революция.

(ОЧЕРК)

Французская революция, вспыхнувшая в 1789 году, получила в истории имя Великой Французской Революции. Этот эпитет целиком оправдывается огромным социальным сдвигом, принесенным революцией не только во Францию, но и в значительную часть европейского континента.

Старая дореволюционная Франция представляла собой огромное общественное здание. Темный невежественный народ столетиями выносил на своих плечах тяготы по содержанию огромной надстройки в виде всякого рода привилегированных классов. 140 тысяч дворян и до 130 тысяч духовенства жили во всех отношениях привилегированы, владели $\frac{2}{3}$ всей земли, не работали и не платили почти никаких налогов. Крестьянство и третье сословие платили все налоги, целиком содержали бюрократический государственный аппарат, дворян и духовенство, владя только $\frac{1}{3}$ земли. Однако, привилегированные классы такое положение считали совершенно нормальным.

„Так богом дано“—говорили дворяне.

Форма правления Франции того времени была ни чем не ограниченным абсолютизмом. „Государство—это я“,—сказал Людовик XIV-й. Его преемники в полной мере осуществляли смысл этого девиза. Деньги в неограниченном количестве тратились на них прихоти.

Во Франции разразился полный финансовый крах. Даже на оба глаза слепое правительство увидело необходимость возложить часть денежных тягот на привилегированные классы. Здесь правительству пришлось столкнуться с тупой, не желающей ни с чем считаться корыстью дворянства. Парламент, состоящий из представителей дворян и духовенства, имевший право вносить в реестр королевские

эдикты и тем давать им силу закона, затруднял проведение предлагавшихся министрами денежных реформ.

Дворянство, не понимая, что само рубит сук, на котором сидит, вспомнило старинный обычай утверждать налоги Генеральными Штатами. В Генеральных Штатах дворянству, духовенству и третьему сословию представлялось посosловно одинаковое количество голосов. Поэтому привилегированные считали обеспеченным получение за собой $\frac{2}{3}$ голосов и настаивали на созыве Генеральных Штатов.

После долгих препирательств, 5-го мая 1789 г. в Версале Штаты были созваны. Дворянство было представлено 270-ю делегатами, духовенство 291 и третье сословие—576-ю. Думая схитрить, правительство ни одним словом не обмолвилось о задачах Генеральных Штатов. Но хитрость не удалась. Выборщики, посыпая делегатов, давали им на казы, в которых были изложены требования народа, требования, выполнение которых народ ждал от Генеральных Штатов. Произошло торжественное открытие Штатов.

Двор нуждался в большинстве голосов по финансовому вопросу. Ему нужна была в этом вопросе поддержка третьего сословия. В остальных же решениях нужно было обеспечить превалирование привилегированных.

Третье сословие стремилось достигнуть общего голосования по всем вопросам. После нескольких недель утомительного препирательства стало ясным, что только путем решительных мер можно будет избежнуть посosловного голосования и, следовательно, крушения всех возлагавшихся на Штаты надежд: 17-го июня 1789 года представители третьего сословия предприняли эти шаги. Они объявили себя единственными представителями народа и приняли имя „Национального Собрания“.

Ощеломленные смелостью буржуазии, двор и привилегированные растерялись. Они обратились к королю, прося принять решительные меры. Парламент, так недавно заявлявший, что налоги могут утверждаться только Генеральными Штатами, теперь предложил королю внести в реестр, признать все налоги, лишь бы только король разогнал этих „бунтовщиков“. Король склонился на сторону двора и решил вмешаться.

Прежде всего, двору нужно было оттянуть время, помешать усилению Национального Собрания. Мужество послед-

него и резонность требований привлекло к нему симпатии делегатов низшего духовенства. Чтобы помешать присоединению его к Собранию, двор решил прервать заседания последнего. Решено было, под предлогом ремонта, закрыть зал заседаний.

Однажды депутаты пришли на заседание и застали печать на двери охраняемого войсками здания. Не растерявшиеся, депутаты отправились в зал городского собрания и там продолжали работу. Тогда же, при огромном воодушевлении, была произнесена клятва „не расходиться до тех пор, пока не будет выработана и не получит надежных гарантий конституция королевства“.

23-го июня король сделал попытку прекратить возмущение выступлением в общем заседании Генеральных Штатов. После длинной напыщенной речи он „повелел“ немедленно разойтись. Дворянство и духовенство покинуло зал, но третье сословие осталось. В ответ на предложение обер-церемониймейстера о исполнении приказа короля депутат Мирабо ответил: „Мы собирались сюда по воле народа и только штыками можно будет нас разогнать. Передайте это вашему господину“.

Король растерялся и... разрешил Национальному Собранию заседать. К Собранию примкнул ряд представителей духовенства и дворян. Среди последних—герцог Орлеанский.

Между тем, события назревали. Готовя удар народному представительству, двор стягивал к Парижу войска. Отсутствие хлеба и недвусмысленное стягивание к Парижу наемных войск довели волнение парижского населения до высших пределов. Потерявший уже популярность, министр финансов банкир Неккер, получив неожиданную отставку, сделался кумиром толпы. Появились демонстрации с бустами герцога Орлеанского и Неккера. Войска расстреляли демонстрацию. Камиль Демулен бросил лозунг: „К оружию, граждане“. Французская гвардия стала на сторону народа. Наемные войска не решались выступить до прибытия подкреплений. А подкреплений не подходили. 14 июля восставшие штурмовали и, после двух дней осады, взяли политическую тюрьму—Бастилию.

„Ого! Да ведь это настоящий бунт!“ — глубокомысленно произнес Людовик.

„Нет, ваше величество. Это революция“, — ответил герцог де-Лианкур.

Король струсил. Он отозвал от Парижа войска и сам явился в Париж. Народ гробовым молчанием встретил въезд монарха.

„Доверяюсь вам, представители моего народа“, — сказал король Национальному Собранию. Неккер с триумфом был возведен на пост министра финансов. Все как будто улыбалось восставшим. Но революционные предметы еще не понимали, как разнятся их интересы от интересов буржуа—верхушки третьего сословия.

А события продолжали развертываться. Взятие Бастилии оказалось спичкой, поднесенной к пороховому погребу столетней крестьянской нужды. Вспыхнули бунты. 4 августа 89 года Национальное Собрание вынесло постановление об отмене крепостного права, вотчинного суда, податных привилегий и т. д., и т. д. Затем, через короткий промежуток времени, собрание утвердило и опубликовало „Декларацию прав человека“.

Ни кто, даже Марат, не занимался еще о республике. Споры шли вокруг вопроса о „вете“—праве короля запрещать то или иное постановление собрания. А придворная партия собиралась приложить свою изможденную ручку к ручагу исторического колеса. Она проектировала увезти короля в Меце и оттуда, с губернатором де-Бальи, двинуться на Париж. Заговор предугадали. Мирабо внес предложение перевезти короля в Париж. Париж приготовился защитить себя от государственного переворота.

В Париже ощущался острый недостаток хлеба. Население волновалось. В Пале-Рояле толпы жителей разломали решетку и возбуждение было так велико, что Национальная гвардия выдвинула пушки.

Но волнение только усилилось.

Вдруг стало известным, что в Версальском дворце офицеры гвардии устраивают пиры офицерам прибывшего Фландрского полка, сопровождающиеся монархическими демонстрациями в присутствии короля и королевы. 3 и 4 октября улицы Парижа оказались запруженными возмущенным народом. Сборища рассеивались штыками Национальной гвардии. Теперь для городского пролетариата стала ясна сущность созданной собранием Национальной гвардии—онлита торжествующей буржуазии.

5 октября огромная толпа голодных женщин направилась к городской ратуше с требованием оружия и хлеба. Из ратуши женщины отправились в Версаль. Король при-

пил делегацию голодающих и обещал устраниć хлебные затруднения. Но обещаниями не утолить голод. В Версальском дворе началась свалка. Вмешалась лейб-гвардия. Версальская Национальная гвардия стала на сторону женщин. Появились раненые. К вечеру прибыл с войсками Лафайет и рознял дерущихся. Внешне все как будто успокоилось.

Лафайет едва успел прибыть для прекращения беспорядков. Королю пришлось согласиться на переезд в Париж. Планы двора пошли на смарку. Короля, под охраной Национальной гвардии, поместили в Тюльерийский дворец.

Тем временем, Национальное Собрание вырабатывало основы конституции. 14 июля 90 года, в день годовщины взятия Бастилии, был отпразднован „праздник объединения“, на котором король дал торжественное обещание „твёрдо и верно соблюдать выработанную и подлежащую еще выработке конституцию“.

Через очень короткий промежуток времени, король попытался уничтожить все, что недавно клялся охранять. В апреле 1791 года, под предлогом пасхальной поездки в Сен-Клу, король намеревался уехать в маркизу де-Булье с тем, чтобы двинуть на Париж верные ему войска. Народ воспротивился поездке короля. Национальная гвардия не выступила против народа. Королю пришлось отказаться от поездки.

Но энергия двора не ослабла. Людовик решил бежать, переодевшись. План побега был детально разработан. Однако и побег в Варену не удался. Несмотря на переодевание, короля в дороге узнали, арестовали и вернули в Париж. Перед побегом, для того, чтобы усыпить бдительность революционеров, Людовик опубликовал два письма, в которых на все лады доказывал свою верность конституции. Теперь нашли подготовленный королем манифест, который с очевидностью доказывал лицемерие monarcha.

Король сидел под арестом. Бегство вызвало совершенно неожиданные последствия. Оно создало республиканское движение. Левая группа Национального Собрания, Гора, как называла она себя, так как занимала высокие места налево от председателя, проводила довольно ясно выраженную республиканскую линию. В Собрании Гора не имела большого значения, но через клубы якобинцев и кордельеров пользовалась огромным влиянием на широкие слои револю-

ционных масс. В клубе якобинцев республиканское течение получило особенно яркое выражение. 21 июля Робеспьер произнес в клубе речь, в которой сказал: „Мне бегство короля не представляется большим несчастием. Сегодняшний день мог бы стать лучшим днем революции“.

В Национальном Собрании в это время произошла большая перегруппировка сил. Значительная часть лидеров левой группы, испугавшихся силы революционной волны, перешла в центр — к либерально-конституционной партии. Собрание еще раз доказало, насколько чужды ему интересы трудащихся. Оно решило не привлекать Людовика к суду, так как он-де не удрал, а насильно был увезен из Парижа.

16 июля 1791 года фельяны (клуб либерально-конституционной партии) снова возвели Людовика на престол, а Лафайет штыками разогнал народную массу, окружавшую Национальное Собрание.

В тот же день, в клубе якобинцев, была составлена петиция с требованием низложения короля. На другой день, на Марсовом поле, петиция должна была быть подписана народом. Собрались огромные толпы желающих подписать петицию. После ряда выступлений, приступили к сбору подписей.

На площадь двинулась Национальная гвардия под предводительством Лафайета. Собрание постановило всеми средствами помешать подpisанию петиции. Лафайет приказал стрелять в отказавшуюся расходиться толпу. Петионеры рассеялись, оставляя на поле убитых и раненых.

Так пролетарии на трупах братцев убедились, что буржуа, в лице Национального Собрания и Национальной гвардии, вовсе не брат революционной бедноте.

3 сентября 1791 года Собрание приняло в окончательном виде конституцию, которая превращала Францию в полудемократическую конституционную монархию. Вся законодательная власть передавалась Национальному Собранию. Король сохранял право отсрочивающего вето. Граждане получили равенство перед законом, свободу собственности и печати, неприкосновенность личности и другие „свободы“, на осуществление которых, при объективной оценке положения, смотреть приходилось скептически.

Конституция привела в восторг почтенную буржуазию, для которой устанавливалась свобода промышленности. Эта

конституция являлась государственной опорой для крупной буржуазии и давала последней возможность стать крупнейшей мировой силой.

Не найдя в конституции гарантий материального благополучия, народные массы далеко не так ею восторгались. „Ограничительные постановления“, изданные Собранием против пролетариата, превращали в пустой звук красивые слова конституции.

14 сентября 1791 года Людовик XVI в Национальном Собрании снова присягнул конституции. Почтенное мещанство вступило в число правящих классов.

Задача Национального Собрания была закончена. 30 сентября оно самораспустилось. Перед закрытием, Собрание вынесло, по предложению Робеспьера, постановление, согласно которому члены 1-го Национального Собрания не имели права входить в состав следующего. Таким образом, Робеспьер добился революционного обновления следующего собрания.

Этим кончился первый этап Великой Французской Революции.

30 октября 1791 года открылись заседания Законодательного Собрания. Предложение Робеспьера целиком оправдало себя. Законодательное Собрание состояло главным образом из представителей новой, революционной Франции. Демократически-конституционная партия, главенствовавшая в предыдущем собрании, теперь представляла крайне правое незначительное крыло.

Преобладающее значение в Законодательном Собрании имела умеренно-демократическая партия, названная по имени департамента, из которого прибыло большинство ее лидеров,—Жирондой. Двор, с первых же дней открытия Законодательного Собрания, принял по отношению к нему высокомерный тон. Король не принял представителей Собрания. Тогда Собрание постановило лишить короля звания „величества“. Затем были приняты декреты против эмигрантов, против отказавшихся от присяги конституции священников и об организации в окрестностях Парижа 20-тысячного лагеря „объединенных“.

Король наложил „вето“ на эти декреты. Между тем, положение революционной Франции становилось все более угрожающим. Эмиграция достигла колоссальных размеров. За границей находилось свыше 60 тысяч способных носить оружие эмигрантов. Реакционное духовенство подстрекало

темных крестьян к контр-революционным выступлениям. Кое-где начались восстания. Австрия и Пруссия обещали эмиграции военную поддержку. Командование соединенных войск этих государств издало знаменитый коблинский манифест, в котором грозило революционной Франции местью за произведенный переворот. Нужно было принять решительные меры.

Партия Горы в Законодательном Собрании не имела достаточного влияния. Жирондисты, как всегда бывает с представителями мелкой буржуазии, являлись людьми красивых слов и нерешительных действий. Они считали возможным регулировать происходящие события путем парламентского словоговорения. Однако, настроение народных масс, в связи с очевидно грозящей опасностью и отказом короля от утверждения трех декретов Собрания, было чрезвычайно приподнятым. Жирондисты решили устроить демонстрацию. Целью демонстрации было желание заставить короля умеренное пользоваться правом вето.

20 июня 92 года, по негласному призыву жирондистов, собралась огромная толпа жителей парижских предместий, вооруженная, несмотря на категорическое запрещение Жиронды. Эта демонстрация, насчитывавшая свыше 30 тысяч человек, прошла через зал Законодательного Собрания и направилась в Тюльери. Король, предупрежденный о безобидной цели демонстрации, не растерялся и спокойно говорил с ворвавшимся во дворец народом. Он одел на голову предложенную ему красную шапку санкюлотов и выпил вина из фляжки солдата, но все же не отказался от объявленного вето.

Идея демонстрации, как и следовало ожидать, оказалась ничего не стоящей выдумкой. А соединенные войска не теряли времени. Они вторглись во Францию и подходили уже к Вердену. Со взятием Вердена путь к Парижу оказался свободным. 11 июля Законодательное Собрание объявило отечество в опасности.

Связь двора с наступающими войсками была очевидна. Двор радовался скорому освобождению. Аристократия становилась все заносчивее и нахальнее. Рабочие предместий и „объединенные“ ждали от Собрания решительных действий. Собрание не осмеливалось предпринять смелого шага. Но зато этот шаг сделал клуб якобинцев.

Под руководством Дантоне, 10 августа предместья вышли на улицу. За ними последовали марсельцы и другие

добровольцы из провинций. Они подошли ко дворцу. Двор готовился к обороне. Он рассчитывал на швейцарскую гвардию и значительную часть Национальной гвардии. Однако, когда тысячные толпы вооруженных пролетариев с пушками двинулись ко дворцу,—там растерялись. Король струсил и согласился с семейством уйти в здание Законодательного Собрания, под защиту последнего. Восставшие, под командой немецкого солдата Бессериана, атаковали дворец и, после кровопролитного боя взяли его. Величие короля и престиж королевской власти окончательно пали. Вместе с королевским величием пал и авторитет Жиронды.

Одновременно со взятием дворца был произведен демократический переворот в городском управлении. Был реорганизован Общинный Совет парижских секций. Законодательное Собрание обновило состав министров. В новый кабинет вошел, в качестве министра юстиции, Дантон. Являясь ставленником революционного населения, будучи незаурядным политическим деятелем, Дантон скоро подчинил своему влиянию весь кабинет министров. Фактически, Дантон являлся главой Общинного Совета—Коммуны и главой наблюдательного комитета, выдвинутого Коммуной.

Теперь партия Горы получила преобладающее значение. Она опиралась на парижский пролетариат, ее лидеры, талантливые Дантон, Робеспьер, Марат, Камилл Демулен и многие другие, держали под своим влиянием городское самоуправление. Нерешительная Жиронда теряла популярность в глазах революционных масс.

17 августа, по требованию Наблюдательного Комитета, был создан трибунал, который судил и приговорил к казни нескольких контр-революционеров. Контр-революционные войска взяли Верден. Положение Парижа стало не только угрожающим, но прямо-таки опасным. До 40 тысяч добровольцев, записавшихся в день объявления отечества в опасности, требовали отправки на фронт. Однако, отправить их на фронт значило оставить город во власти поднявших голову аристократов. Низложенный король надеялся на быстрое прибытие австро-германских войск. Нужно было обеспечить себе тыл. Два-три казненных аристократа, конечно, не могли успокоить население, хорошо помнившее манифест эмигрантов.

Дантон понимал, что только решительными мерами можно избежать полного краха. К проведению этих мер он и приступил. 2 сентября возбужденные толпы народа окружили

тюрьмы, в которых содержались аристократы и реакционное духовенство, арестованные перед этим по приказу Наблюдательного Комитета. В тюрьмах были организованы суды, которые тут же на месте казнили или освобождали арестованных.

2-е сентября принесло много жертв, но оно целиком оправдало себя. Удалось пригнуть зазнавшуюся контрреволюцию, удалось разредить атмосферу в тылу и можно было послать на фронт добровольцев. 20-го сентября изменилось к лучшему и положение на внешнем фронте. При Вальме был выдержан бой, следствием которого явилось отступление имперских войск. В этой битве, внесшей перелом во всю кампанию, наэлектризованные, полные энтузиазма добровольцы получили боевое крещение. Они выдержали такой артиллерийский обстрел, перед каким не устояли поседевшие в боях прусские и австрийские солдаты.

Законодательное Собрание еще 10 августа, в день народного восстания, вынесло постановление о созыве Национального Конвента, в руки которого передавалась законодательная и исполнительная власть. Выборы прошли очень быстро. 20-го сентября Конвент открылся. Ему сразу же пришлось заняться работой по охране революции, работой по вооруженной охране Франции от вторжения монархических войск. Соотношение сил в Конвенте совершенно не походило на соотношение сил в Законодательном Собрании. Жиронда в Конвенте представляла крайне правую партию. Гора являлась хотя и не сильнейшей партией Конвента в первые дни его работы, но во всяком случае—партией наиболее значительной по влиянию на центр Конвента и на широкие рабочие массы.

22-го сентября, Конвент подтвердил постановление Собрания о низложении короля и утвердил новое летоисчисление, согласно которому 22-е сентября являлось первым днем первого года республики. Конвент разрешил вопрос о подсудности короля. Короля судили. С 14-го по 18-е января в Конвенте происходило голосование предложений по поводу процесса короля. Огромным большинством голосов виновность Людовика XVI была признана. При голосовании приговора, голоса несколько разделились, но все-таки значительным большинством голосов бывший король был присужден к смертной казни.

21-го января 1793 года голова бывшего короля Франции скатилась на эшафот.

Со смертью короля, партийные раздоры в Конвенте конечно не прекратились. Интересы городской бедноты сталкивались с интересами мелкой и средней буржуазии и это несходство интересов обострялось необычайно тяжелым положением городского пролетариата в связи с катастрофическим обеснением бумажных денег и отсутствием подвоза продуктов питания. Если учесть это положение, становится понятной ни на минуту не затихающая борьба в Конвенте представителей бедноты — Горы — с представителями буржуазии, жирондистами.

Парламентские неурядицы не давали возможности обратить серьезное внимание на все более ухудшающееся положение на фронтах. К тому же в Вандее и других окраинах республики с необыкновенной силой вспыхнули роялистские восстания. Жирондисты всячески мешали принятию решительных мер.

С таким положением нужно было покончить. Опираясь на Коммуну, клубы и вооруженное население секций, Гора потребовала ареста 22-х виднейших жирондистов. Конвент не посмел отклонить требование, поддерживаемое штыками революционных предместий. Он уступил. Жиронда была свергнута. Ее разгром завершился публичной казнью виднейших лидеров.

Находясь под постоянной угрозой со стороны внешней и отечественной контр-революции, Гора сплотилась и, подавив внутренние разногласия, поднялась на защиту Революции. Как и следовало ожидать, Конвент, под руководством Горы, сумел рядом решительных мер изменить положение на фронтах и принудить к спокойствию восставшие провинции.

Конвент выработал новую конституцию на основе демократических принципов, проповедывавшихся Руссо. Однако, и в этой конституции 1793 г., предполагавшей равноправное выборное начало, предусматривалось существование классов. „Богатые должны предоставлением работы и деньгами помогать бедным“ — вот смысл одного из пунктов конституции.

Как только непосредственная опасность перестала грозить республике, в партии Горы начались разногласия. Вырисовались три группы: левая, правая и центр. Левая возглавляемая Гебером, опиравшаяся на Коммуну и предместья, строила свое миросозерцание на принципах мате-

риалистической фисософии Дидро и Гольбаха. Эта группа во главе с выдающимися революционными деятелями, впервые за все время революции выдвинула требования, осуществление которых изменило бы положение трудящихся. Их программа основывалась на материалистических учениях. Они не останавливались на „помощи бедным“, а требовали преобразования общества. Их практическими мероприятиями была борьба с религией и борьба за осуществление террора, во имя спасения Революции. Геберисты руководили деятельностью Коммуны и благодаря их упорной работе, парижский пролетариат в критические минуты, получал помощь работой и подвозом провианта.

Правая, во главе с Дантоном, стояла на точке зрения Вольтера. Эта фракция, в состав которой входили люди (Дантон, Демулен и т. д.), некогда выдвигавшие идеи террора, теперь, выражая интересы мелкой буржуазии, нападали на атеизм геберистов и требовали умеренности.

Центр, наиболее сильная в Конвенте группа Горы, под руководством Робеспьера проводила идеи добровольного государства Руссо.

Робеспьер мечтал о государстве „добродетели“, и не был согласен с идеями геберистов. Крылатая фраза Робеспьера „Если бы бога не было, его надо было бы выдумать“, как и многое другое, свидетельствует о том, что „неподкупный Робеспьер“ выражал идеи мещанства. Он стремился обобщить интересы трудящихся с интересами буржуазии на основе „добровольного государства“ и добродетели, вводимой при посредстве террора.

Центр вместе с правой группой обрушился на геберистов. Арестованным лидерам этой фракции были предъявлены клеветнические обвинения в подкупе со стороны контрреволюции и стремление опорочить революцию. Левая группа, несмотря на поддержку предместий, была сломлена.

Тогда Робеспьер, опасаясь клички „умеренного“, повел наступление на дантонистов и при помощи своего влияния в Конвенте, раздавил и их.

Во всемогущем „Комитете благоденствия“ выделился диктаторский триумвират, в составе Робеспьера, Сен-Жюста и Кутона. По существу, Робеспьер стал диктатором и проводил свою политику, как таковой. Наступила полоса террора. Только таким путем можно было удержаться у власти, только таким путем можно было защищаться от врагов.

Однако идеалистическая программа триумвирата, конечно же находила почвы для претворения в жизнь.

Предместья, когда-то богоотворившие Робеспьера, теперь устали от революции. Они получали слишком много казней и слишком мало хлеба. К тому же 60—70% ежедневно казненных по приговору трибунала были людьми из низших слоев общества. Робеспьеру пришлось бороться, и с правыми и с левыми. Он уже не имел поддержки в слоях парижской бедноты. Он не мог уже опереться на Коммуну, ибо разрушил ее в борьбе с гебертистами. Крестьянство получило еще при Национальном Собрании землю и теперь перестало быть революционным. Кроме реакции, ни кто не мог опереться на него.

Скоро триумвират потерял власть и в Конвенте. 9-го термидора II-го года Республики (27-го июля 1794 г.), все партии Конвента объединились для свержения триумвирата. Робеспьер, Сен-Жюст и другие сторонники диктатуры были арестованы и затем казнены. Гора, принимая активное участие в деле „термидористов“ (объединения 9-го термидора), тем самым вырыла себе могилу.

Развитие революции по существу окончилось с гибелью гебертистов. С переворотом 9-го термидора началась реакция. Остатки партии Горы погибли на эшафоте. Клуб якобинцев был закрыт. В Конвенте вершили судьбы Франции центр и правые. Некогда вождь революции, Жиронда ныне стала вождем конгр-революции. В течение года длился этот период Конвента. И год этот прошел в борьбе с демократией, в борьбе с постоянно волнующимися на почве голода предместьями.

Конвент выработал и 22-го сентября 1795 г. принял новую конституцию, которая несла с собой косвенные выборы и две палаты. Она, следовательно, была еще менее демократична, чем конституция 1791 года. Избрав Директорию и проведя выборы в палаты, Конвент закрылся. Директория очень скоро дискредитировала себя. Она не имела поддержки ни в одном из слоев общества. Рабочие, разоруженные Конвентом, больше не интересовались политическими событиями. Они устали от революции, которая так мало дала им, так много взяла. Буржуазия и крестьянство, т.е. сословия имущие, нуждались в твердой власти, которая спасла бы их имущество от переворотов, деньги от обесценения.

Такой властью оказалась твердая рука Наполеона Бонапарта. Выступив на арену политической жизни еще при

Конвенте, во время восстания реалистов, этот талантливый полководец сумел приобрести себе славу за четыре года войны.

9-го ноября 1799 г. Бонапарт свергнул Директорию. Было учреждено консульство, в состав которого вошли Наполеон, Сийес и Роже Дюко. А 18-го мая 1804-го года Наполеон Бонапарт, под именем „Наполеона I“ был „милостью божией“ провозглашен императором Франции.

В истории Великой Французской Революции отметим несколько этапов. Вначале мы видим борьбу привилегированных сословий со двором из-за налогов. Однако, раз начавшись, события уж не могли остановиться на полпути. Разбуженная борьбой, крупная либеральная буржуазия пришла в движение. Привилегированные классы немедленно перешли на сторону двора. Мощная буржуазия победила. Она уничтожила сословия, наследственные привилегии и создала конституцию 1791 года. Но конституция, созданная крупной буржуазией, ничего, или почти ничего, не давала средним и низшим слоям буржуазии. Эти неудовлетворенные слои общества выступили в стремлении добиться демократического строя, необходимого для укрепления и развития мелкой и средней промышленности. Крупная буржуазия немедленно примкнула к своим недавним противникам — к двору и дворянству. Поддерживаемая пролетариатом демократическая буржуазия выиграла бой и уничтожила монархию.

Но буржуазная демократия Жиронды уже не могла удовлетворить запросов широких масс восставшего народа. На арену социально-политических событий выступила новая сила — радикально-демократическая Гора, поддерживаемая через клубы кордельеров и якобинцев, широкими слоями пролетариев. В результате — история занесла в свои скрижали отметку о падении ставленников „честной“ буржуазии — жирондистов. Однако, в силу отсутствия экономических предпосылок, и партия Горы с конституцией 1793 года не сумела создать демократического строя. Идея добровольного государства по принципам Руссо провалилась. Подъем революционного движения кончился. Путь к военной диктатуре Наполеона Бонапарта оказался свободным, подготовленным.

Франция превратилась в пестрящий палатками военный лагерь. Народные интересы уступили военной силе. Имущие классы и, главным образом, получившее землю крестьянство,

вида в лице Наполеона защитника собственности, целиком поддерживали правление военной клики. Наполеон был ставленником имущих классов и в этом была его внутренняя сила.

Революция окончилась. Буржуазия получила все, что ожидала от нес.

Н. Ярко.

I.

Первые дни революции, рассказанные в кафэ де-Фуа.

По приезде напрем в Париж, 23 июля 1789 года, мы были испуганы царившим возбуждением умов. Мы надеялись, что они успокоятся, но мы ошиблись. Волнение росло... Мы видели под сводом Цирка, еще не достроенного, как молодые люди поднимались на подмостки, читали зажигательные речи, возбуждали брожение. Мы спросили, что такое происходит, и что этому предшествовало... Молодой человек, только что произносивший речь, и разбившийся, вследствие того, что стол, с которого он говорил, был опрокинут толпою слушателей, подошел к нам, поддерживаемый с обеих сторон:

— Вы иностранец, сударь? — спросил он.
— Нет, мы вернулись из Швейцарии.

— Это безразлично. Я могу вас осведомить... Пусть меня сидя спесут в кафе де-Фуа! — Мы последовали за ним. Его устроили поудобнее, и так как потребность говорить заглушала в нем все остальное, он рассказал нам следующее:

„27 апреля 1789 г.—Генеральные Штаты собирались. Умирающая аристократия, сама того не сознавая, пыталась сделать последнее усилие. Неккер, сей добродетельный министр, усилил народ, дав ему двойное представительство, хотя это представительство еще не было пропорциональным... Нет, оно далеко не пропорционально... но оно представляет собою все, на что можно было в то время надеяться.

„Аристократы, т.е. министры, вельможи, члены Совета, интенданты, заместители делегатов, епископы, каноники, монахи, чиновники, прокуроры и часть их писцов, капиталисты, биржевики, богачи, словом, все кроволийцы — аристократы берутся доказать королю, что народ — неукротим, что это — дикий зверь, который, если бы он одержал верх, то опрокинул бы все преграды, и упорядоченное при деспотизме королевство превратил в ужасающий хаос анархии.

„Но этот народ не думал восставать. Спокойный, он с любопытством, но без нетерпения, ждал работ высокого собрания.

„Аристократию приятом объял трепет. Это—высокая женщина, рожденная на границах Паризиса и Нормандии. Она худа, суха. Прежде у нее был благородный вид, теперь она только полна злобы. В числе своих предков она насчитывает свойственников трех королевских домов. Когда-то она была богата, теперь же бедна и живет на пенсии, которая не обеспечивает ее от нужды; пенсия идет и на удовлетворение ее кредиторов. Она считает, что все должно принадлежать ей: с завистью глядит она на корону на голове Бурбонов... Но велух высказать этого не смеет... Она отправилась пешком к воротам Сент-Антуан, к нотариусу, чтобы учесть фальшивый вексель. Она вглядывается в башни Бастилии; вид их радует ее. Она входит к нотариусу. Подпись артиста Ревельлон была подделана так искусно, что почтенный нотариус поддался обману, несмотря на то, что несколькими месяцами раньше он уже открыл другой подобный же обман, со стороны... аббата... Он учел.

„Аристократия выпила, исполненная радости. Нотариус глядел ей вслед. Ему казалось, что он видит нечто божественное в ее походке. Снесивая бездельницу, опьяченная радостью, получив деньги, золото, отправляется в предместье; она притворяется милостивой, ласковой. Она жалеет народ, но не полезного трудящегося ремесленника, а бездельника, живущего пустыми мечтами, и полного тщетной жажды богатства... Золото уходит из ее рук. Она чувствует, что надо у толпы обездоленных отнять ту работу, которую им дает полезный и добродетельный гражданин. Она клевещет; подстрекает к грабежу.

„Ее слова, подкрепленные золотом, имеют успех. Бездельники, которые всегда только и работают над бесполезными поручениями, обзывают, что артист намерен уменьшить поденную плату. Настоящие рабочие испуганы. Все волнуются, мятаются. Лентяи идут поднимать предместье Сен-Марсо, и слепой и ограниченный ремесленник не понимает, что он готов уничтожить источники своего собственного существования. Он восстает. Это было в понедельник вечером (27 апреля 1789)... Они отправляются к дому благодетеля бедных; окружают его; несколько конных караульных отбрасывают их. Ночь проходит.

„На следующее утро бездельники являются снова. Аристократия была у де-Крона (начальника полиции); она получила разрешение освободить мошенников, заключенных в Бисетре,—то ли она соблазнила начальника полиции, то ли она подделала его подпись... Она выпускает их; приводят их в предместье. Их нечего было побуждать к грабежу... Аристократия летит снова в полицию; там она застает конного стражника, который просит помощи у магистрата:

— Сорока человек мало,—восклицает он,—чтобы охранить большой дом!

„Аристократия делает его просьбу напрасной. И артист Ревельлон разграблен (28 апреля 1789). Он лишился бы и головы, если бы не имел предосторожности бежать..

„Аристократия поджигает, грабит, уничтожает... Изверг, похожий на нее по росту, негодай, насыщенный желчью и завистью, возбуждает толпу и крадет 15.000 ливров, с которыми потом бежит и, по слухам, устраивается у себя на родине.

„Аристократия переодевается в платье убитого французского гвардейца, и старается возбудить ярость солдат против народа, чтобы усилить смуту и восстановить всех друг против друга. Но здесь она ошиблась!.. Французские гвардейцы защищаются; они отбрасывают разбойников... Аристократия, ты обманулась! Французские гвардейцы не будут тебе повиноваться!..

„В эту злополучную ночь, разбойники, выгнанные ружейными зарядами из разграбленного дома, рискуя быть убитыми булышниками, вынутыми из мостовой, и бросаемыми из окон горшками,—идут грабить купцов: обжоры идут громить колбасные и кондитерские; скряги—ювелиров, галантейных торговцев, лавки с бельем; берут, что хотят; заставляют отпирать или ударами топора высаживают запертые двери!.. Так проходят ночи с 27 по 29 апреля (1789)...

„Генеральные Штаты собираются. Аристократия во что бы то ни стало хочет первенствовать на первом собрании. Но она застает там Демократию, которая дает ей пощечину. Раздраженная, она хочет мстить. Демократия спокойно остается на своем месте (23 июня)... Наконец вчера, Аристократия как будто бы победила... Но я предсказываю вам, что победа ее будет непродолжительна”...

Так говорил молодой человек, разбившийся при падении. Тут и голос, и дыхание у него прервались; пришлое цу-

стить ему кровь, и он пролежал в постели до 11 июля, когда вечером мы увидели его в Пале-Рояль. Мы уклонились от встречи с ним, не желая отвлекаться от того, что собирались высказать в разных группах.

Среди этих волнений, время идет. Наступает 12 июля. Министры все еще свирепствовали. 10-го было глухое брежение. Гроза выросла 11-го. Около 10 часов, в минуту величайшей опасности, молодой аристократ, прибежавший из Версала в Пале-Рояль, пытался успокоить народ, крича:

— Все идет хорошо!

Все шло худо, как о том узнали чересчур поздно, на следующий день.

II.

День 12 июля 1789. — Атака принца де Ламбек в Тюильери.—Улицы Парижа ночью 12 июля.

Мы вышли из дома в шесть часов вечера и направились к Новому Мосту... Когда мы очутились на Луврской набережной, то увидели бегущую, обезумевшую толпу.. Мы осведомились:

„Неккер уволен!.. Вместо него будет Фуллон!.. Войска... войска подходят к Парижу... Принц де Ламбек“...

Бот все, что мы слышали в ответ.

В эту минуту высокая молодая девушка, одетая на подобие нимфы и сложенная, как нимфа, появляется из улицы Абр-Сек и спрашивает:

— Куда идут эти мужчины?

Ей отвечают:

— Они бегут, вместе со своими женами.

— Трус,—восклицает она, схватывая одного беглеца за ворот:—отпусти жену, а сам возвращайся!

Молодой человек улыбается:

— Это моя сестра,—сказал он:—разрешите мне проводить ее до дома, и я вернусь с оружием...

Другой молодой человек, показавшийся мне возлюбленным нимфы, взял ее за руку и увел. Красавица, однако же, оборачивалась и, видя, что мужчины продолжают бежать, в негодовании топала о землю ногами.

Кто обратил в бегство испуганного парижанина?

Вызванный ясным небом, трудолюбивый горожанин, пользясь днем отдыха, отправился подышать чистым воздухом в сады, которые писал Ленотр,—в Тюильери. Чтобы помочь своей прекрасной подруге, добродушный парижанин несет дитя. Он сильнее; размыщение влечет его к природе, хотя и кажется, будто оно его от нее отдаляет. Придя к берегу пруда, осененного деревьями, супруг и его подруга садятся на траву отдохнуть, меж тем, как дитя, которое они несли, бросается к другим детям, играет и ревнится вместе с ними и заставляет мать улыбаться.

Тем временем, на террасе, господствующей над рекой, ветреные прохожие подстрекают солдат, собранных без всякого повода. Камень, как рассказывают, попадает в каску Ламбека. В негодовании, командир дрожит. Он дает увлечь себя дерзким советом; верхом на лошади въезжает в королевский сад... Священное прибежище, посвященное играм, смеху, любви, но где Марс никогда не должен присутствовать, кроме как в виде статуи... Он едет вперед, с саблей наголо... Пронзительные крики оглашают воздух, им отвечают крики юных матерей... Они вскаивают. Схватывают на руки детей. Теперь уже не отцы несут их: матери обезумевшие от страха, считают, что в материнских объятиях они в большей безопасности. Дети кричат, будучи оторваны от своих невинных игр. Жены кличут мужей, чтобы те проводили их домой. Все бежит. Женщины—от испуга; мужчины,—чтобы освободиться от своих семей...

Тем временем Ламбек чувствует, что он сделал неосторожность, он хочет вернуться назад. Отважный старик осмеливается преградить ему дорогу и восклицает:

— Поднимите вортящийся мост!

Несчастный падает под ударами Ламбека!. Роковой поступок!. Но не следовало въезжать верхом на коне в сад! Это—проступок, которого Ламбек не может с себя смыть.

Все это я услышал, приблизившись к храброй нимфе... Я направился в Пале-Рояль, где с 7 июня проходили многочисленные сборища; где зарождались эти волнения, начавшие затем округа и муниципалитет.. Я нашел там лишь грубых людей, с горящими глазами, которые жаждали скорее добычи, нежели свободы... Я поспешно ушел.

Бегу в Тюильери. Там было безлюдье. Огромная пустыня. Эти смеющиеся сады были столь печальны, что я невольно воскликнул:

— О, короли без поданных, что вы такое!

Я раздумывал затем о пустых идеях аристократов, которые делают народу жизнь тягостной, и подумал, что они— глупцы, которым надоело быть счастливыми. Все принадлежит народу, все для народа, думал я; и безумец, умно-жающий страдания человечества, есть преступник, оскорбляющий нацию и более виновный, чем Ламбек...

На следующую ночь, когда я бродил по городу, я пошел в Орлеанский дворец (Шале-Рояль).

Группы исступленных людей рассказывали о том, что происходило днем. Раздавались угрозы, оценивались головы... Я задрожал. Я увидел тучу бед, нависших над этой столицей, некогда самой роскошной, самой сладостной из всех городов мира, самой свободной, самой любезной и, следственno, самой счастливой. О, Лондон! Певзирая на твоё высокомерие, язываю тебя сравниться с Парижем! Даже при Сен-Флорентинах, Сартинах и Ленуарах он был более свободен для честного человека, чем законченный Лондон, где разбойник грабит вас во имя свободы, противящейся полиции!. Целые двадцать пять лет жил я в Париже свободнее воздуха! Двух вещей для всякого человека было достаточно, чтобы быть таким же свободным, как я: быть честным и не писать брошюр против министров. Все остальное было дозволено, никогда моя свобода не подвергалась никаким стеснениям. И только во время революции одному негодью удалось дважды арестовать меня...

В 11 часов вечера, устав глядеть и слушать, я ушел из Шале-Рояля... Но что за ужасный шум! Яростные крики неслись со всех сторон. Я вижу, что улица Пти-Шан кишит вооруженными людьми. С опасностью жизни хочу увидеть их ближе. Прохожу сквозь лес палок и шаг: тут дрались или делали вид, что дерутся. Я взглянул украдкой. Разбойные огоньки бегали в горящих глазах этих несчастных людей...

При повороте на улицу Вье-Огюстен, я чуть не был убит выстрелом из пистолета... Добрался до рынка. Тут был настоящий ад... Я ухожу, минуя различные опасности, и в полночь достигаю улицы Прувер. Тут меня схватили за ворот.

— Это аббат!

— Нет, нет, друзья мои. Я—отец, и даже дед.

— Он уж очень стар,—сказал другой.

Грубиян, державший меня, толкнул меня в грязь, куда я упал, сидя, и оставил меня на свободе.

Я дохожу до улицы Руль или улицы Аньен-Монне. Там выламывали дверь в оружейной мастерской. Отряд французских гвардейцев подходил, с барабанным боем, с развернутыми знаменами. Он увлек за собою громил; я в эту минуту стоял на углу улицы Бетизи (ныне упраздненной). Неподалеку от меня остановился молодой человек, подруку с прелестной молодою женой. Люди, шедшие с отрядом, схватывают его и разлучают с супругой. Молодая женщина пытается его удержать; кричит. Какой-то грубый человек отталкивает ее ударом кулака, сопровождая это самую не-приятной бранью...

Она лишается чувств. Я подхватываю ее на руки, и эта минута вознаграждает меня за все беды этого вечера... Я привожу ее в чувство с помощью ее фланкона.

— Успокойтесь,—говорю я ей,—ваш муж воспользуется первым перекрестком, чтобы убежать и вернуться к вам... Не бойтесь за него! Он пошел, повидимому, охотно... Если он долго не придет, я провожу вас домой... Вы скажете, что я—ваш отец.. У меня есть дочь ваших лет.

— Ах, у вас есть дочь... Я вполне полагаюсь на вас! Проводите меня к моему отцу!

То был торговец шелковыми тканями, живший неподалеку от рынка. Мы отправились.

Подходя к улице Тиршап (ныне улица Берже), мы увидели человека, бежавшего с легкостью лани, которого преследовали двое мужчин, вооруженные палками.

— Это мой муж!—воскликнула молодая женщина.

Я не ответил, так как был занят мыслью об ее спасении.

— Сюда! сюда!—закричал я изо всех сил. Преследователи остановились и подошли к нам. Это мне и было нужно. Я стал умолять их перенести мою дочь ко мне в дом. Они согласились... Сделали носилки из палок, покрыли их своими куртками, посадили молодую женщину и понесли ее. Молодой муж увидел нас. Его не преследовали, он перестал бояться, вернулся, пошел с нами и с нами же дошел до дома своего тестя. При виде мужа молодая женщина окончательно пришла в себя... Я расстался с ними и направился домой. У Нового Моста разбойники снова меня остановили. Но мое добродушие обезоружило их, и я добрался до дома, где успокоил моих семейных.

Вот очерк первой ночи революции: я рассказываю только то, что сам видел.

III.

Боязнь разбойников: патрули и мнимые патрули (13 июля 1789 г.).

В течение дня повстанцы предместья Сен-Марсель прошли под моими окнами (улица Бьевр), чтобы соединиться с повстанцами предместья Сен-Антуан. Часть этих людей жила милостыней, остальные занимались вылавливанием сплавных дров; все вместе они представляли грозное соборище, казалось, говорившее:

„Сегодня—последний день богачей и людей зажиточных: завтра наш черед, завтра мы будем спать на перинах; те же, которых мы оставим в живых, зайдут, если пожелают, наши темные лачуги“.

Женщины трепетали. Про себя я думал:

„Теперь или никогда следует образовать народную милицию!“

Я не работал. Я встал очень рано, впервые после долгих лет, и отправился к знакомым рабочим и ремесленникам:

— Друзья,—сказал я им,—идите каждый в свой округ! Подайте совет честным гражданам вооружиться, чтобы охранить себя от разбойников и грубиянов.

Не успел я произнести эти слова, как Бертё (гравер Ретифа), Бинё (рисовальщик Ретифа), я Кордье, и Меймак, и рыжий Жанен, и Даниоль Мансо,—Даниоль, несколькими днями раньше собиравшийся меня бить,—и Бригаме, и мальяр Мартен, и Элоа, Алле, Нера, Сонье, Першеле, Анго и Дегозье, Фуке, Барри, Филатр и Виоло—все бросились вон из типографии. Каждый побежал сообщить грустную весть о том, что разбойники, пользуясь волнениями, собираются в следующую ночь разграбить город.

В ту же минуту мирные граждане, встревоженные известиями, собираются, чтобы обсудить положение. Другие переходят прямо к делу и образуют патрули. Вечером, выходя из Шале-Рояль, я с восторгом увидел первый гражданский патруль. Высокий, видный мужчина, в белом сюртуке, в сапогах, командовал им. Он шел с важностью, внушавшей почтение. Он переходит грязный ручей против Сент-Оноре, где уже была караульная, и предъявляет удостоверения своей личности, тем самым, с первой же минуты, подавая

мысль о различении мнимых патрулей. Я хотел узнать имя этого достойного гражданина; но он сам узнает себя по описанию: то было 13 июля, в десять часов вечера, когда я увидел его с патрулем против кафе Милитер.

Набат гудел. Шале-Рояль волновался; все было в движении, все было объято ужасом. Днем ходили в дом Инвалидов искать оружия; на следующий день должны были идти за тем же в Бастилию...

Успокоенный видом гражданских патрулей, я осмелился бродить по улицам столицы. Не знаю, почему, но я не боялся внешних заговоров; я страшился только бандитов, а теперь видел их неусыпных укротителей под ружьем. Но, увы, обман проникает всюду, паряду с законом, и яд недалек от лекарства! Я дошел до Марс, и вдруг услыхал крики. Шесть вооруженных людей преследовали молодую девушку, по виду горничную. Так куропатка, спасаясь от ястреба, попадает порою в руки охотника. Девушка бросилась мне прямо в объятия. Я был безоружен. Ее от меня оторвали.

— Мы не сделаем вам ничего дурного,—сказал ей предводитель отряда;—но вы должны отпереть нам двери. Нам нужно знать, нет ли в том доме, куда вы идете, человека, которого мы ищем; нет ли у него оружия, пороха.

— Увы, судари, я одна! Все слуги уехали сегодня утром с хозяевами, а так как я знала, что буду трусить, то пошла ночевать к подруге, здесь, неподалеку, когда вы меня увидели. Я кое-что позабыла и вернулась, чтобы взять. Увидя вас, я испугалась и побежала...

— Это похоже на правду, тем не менее мы должны осмотреть дом.

Пришлось девушке отпереть. Мне строго-на-строго приказано было удалиться, и я отошел.

Но я был не далеко; пренебрегая опасностью, которой я себя подвергал, я притаился в тени и стал прислушиваться. Вскоре я услыхал крик молодой девушки. Но в ту же самую минуту я увидел подходивший патруль.

— Граждане,—сказал я им,—в этот дом только что вошел патруль; я думаю, что он самозванный, а подтверждают это крики молодой девушки, горничной, которую они принудили отпереть им.

При этих словах начальник патруля подошел к двери, намереваясь войти. Человек с ружьем, оставленный ими на пороге, преградил ему вход. Это усилило подозрения.

Дверь была выломана Часовой выстрелил на воздух и убежал. Мы услышали в доме громкий шум, словно люди убегали через сад. По ним дали несколько выстрелов, и они бросили все, что уносили. Этот мнимый патруль состоял из воров: то были слуги из соседних домов, которые, зная об отсутствии хозяев девушки, образовали патруль, чтобы обокрасть дом. Увидя себя полными хозяевами, считая себя в безопасности и соблазнившись красотою Жозефины, они хотели удовлетворить свои желания: но она закричала. Ружейный выстрел часовщего предупредил их об опасности, и они обратились в бегство. Все вещи были возвращены на свои места. Настоящий патруль вел себя, как подобало честным гражданам; заперли накрепко двери, а девушку отпустили почивать к подруге.

Это маленькое приключение—одно из многих, имевших место в эту ужасную ночь, предварявшую еще более ужасный день, оставшийся навсегда в летописях Франции.

IV.

Вид Парижа после взятия Бастилии.—Ретиф арестован и отведен на гауптвахту.—Он должен проститься с островом Сен-Луи (14 июля 1789).

Я встал поздно, чтобы закончить „Картины жизни“, которые я посыпал в Нейвид. Выхожу из дома около половины четвертого, с отуманенной еще головой, и, как пьяный, подвигаюсь к мосту Нотр-Дам. Яркий свет, лившийся с очистившегося от туч неба, расшевелил меня: я вздохнул свободно, как вдруг перед собою увидел толпу людей, которые кричали и волновались. Подхожу ближе,—о, ужас!—вижу две человеческие головы, поддетье на пике! В испуге я спрашиваю.

— Это,—отвечает мисс мясник,—голова Флесселя (мэра) и голова Де-Лонэ (губернатора Бастилии).—Эти слова бросили меня в дрожь. Я вижу тучу бедствий, нависшую над злополучной столицей французов... Миссказали, однако, не совсем точно. Голова Флесселя, обезображеная пистолетным выстрелом, прервавшим его жизнь, неслась по течению Сены. Передо мною были головы Де-Лонэ и его коменданта (Антуан-Жером де Лом-Сальбрэ).

Иду вперед; тысячи голосов повторяют мольбу:

„Бастилия взята!“

Не могу этому поверить и отправляюсь посмотреть на осаду Бастилии.

На Грэвской площади вижу тело, голова у которого отрублена; оно лежало посреди ручья; пять или шесть равнодушных прохожих стояли над ним. Я спрашиваю.

— Это—губернатор Бастилии.

Я шел дальше и уже не распирывал: душа моя переживала слишком сильные ощущения. В бурном волнении, она не рассыпалась бы подробностей.

Едва прошел я аркаду ратуши, как встречало новых людоедов; один из них, как я видел, осуществил ужасные слова, которые я слышал позже: он нес на шесте кровавленные внутренности одной из жертв народной ярости, и это ужасное зрелище не у кого не вызывало содрогания.

Немного дальше мне попадаются трупы осаждавших крепость, которые несут на носилках. Я видел их около пяти, в том числе двое раненых. За ними шлиувечные и пленные швейцарцы. Уста красивых и молодых девушек—я дрожу при этом воспоминании—кричали: „На виселицу! на виселицу!“ Еще более вззволновал меня высокий и сильный солдат-швейцарец; ему закрыли лицо, и он шел, терзаемый шалуном—мальчишкой, от которого терпел все издевательства. Маленький тигр, которого мне так хотелось убить, сопровождал свои издевательства ударами палки по щеколеткам и по ногам солдата... Но не он был одной из жертв; два инвалида уже висели на роковых фонарях...

Я шел смотреть взятие Бастилии, а меж тем все было уже кончено: крепость была взята. Неистовые люди, с высоты башен, бросали в ров бумаги, документы, драгоценные для истории... Дух разрушения посыпался над городом... Я так и вижу ее, эту грозную Бастилию, на которую три года тому назад, проходя каждый вечер по улице Нёв-Сент-Жиль, я не смел поднять глаз! Она пала на моих глазах, вместе со своим последним губернатором!..

О, какие размышления! У меня захватывало дух, и я едва мог разобраться в мыслях... Я пошел обратно; чувство радости при виде падения этого ужасного страшилища смешивалось с ощущением ужаса, переполнившим все мое существо. Придя на Грэвскую площадь, я стал расспрашивать. Тут-то я и узнал, как был схвачен Де-Лонэ, равно как и причину возбужденной им ярости; как погиб Де-Лон

(командант Бастилии), хотя его и защищал один из бывших заключенных; как Де-Лонэ, колеблясь, сделался жертвой храбости своего коменданта, пожелавшего защищаться; как в своей нерешительности, он поднял подъемный мост, после того, как впустил народ; как стали стрелять в народ; как он был схвачен одним из гренадер; как, в ту минуту, когда он был приведен на Гревскую площадь, чтобы быть переданным городу, он получил удар палкой по лысой голове от озорника-мальчишки; причем он пролил слезы и воскликнул: «Я погиб!»; как этот удар, за которым посыпались тысячи других, был сигналом к его смерти; как ему отрубили голову у первых домов, с колоннами, по дороге в гавань, как ее несли на пике; как его обыскали и отнесли его письма в ратушу; как они явились уликою против злополучного Флесселя, от которого скрыли смерть губернатора; как его вызвали на крыльце, и как высокий и плотный человек, назвав его предателем, выстрелом из пистолета размозжил ему голову; как повесили на фонарях двух инвалидов-артиллеристов, которым потом также отрубили головы!..

Я пробродил остальную часть вечера. Проходя мимо площади Дофин, я услышал звуки барабана. Хорошо одетый человек сообщил публике, что под Люксембургом есть подземные ходы, ведущие в долину Монруж. Я был покоен. Я чувствовал, что то была ложная тревога, и что если бы были настоящие тревоги, то не стали бы выдумывать этой.

Я направился в Пале-Рояль: все лавки были закрыты. Отрубленные головы, словно голова Медузы, заставили всех окаменеть.. Группы людей в саду не были заняты, как в предшествующие дни, обсуждениями; теперь они говорили только о том, что надо убивать, вешать, сносить головы; волосы встали у меня дыбом на голове.

Вдруг появляется человек:

— Граждане, мы стоим перед огромной опасностью! На самом важном месте, а именно у входа в Королевский мост, находятся всего восемь человек; нужно бы 800, чтобы охранять пушки... Пусть все честные граждане докажут свое усердие! Пусть они пойдут и сообщат об этом в округе Сен-Рок, меж тем как другие пойдут к этому посту и заявят о прибытии помощи!

Я направился к Королевскому мосту.

Действительно, там было всего восемь человек. Я перешел по мосту и вернулся по набережной Катр-Насион. Там окликали: Кто идет? — как в осажденном городе. Тревож-

ные вести держали всех в напряжении. Я пошел дальше. В одних местах разбирали мостовую, чтобы помешать продвижению кавалерии; в других нагромождали друг на друга церковные стулья, невзирая на протесты егорожих... По улицам двигались патрули и расставленные пикеты опрашивали всех прохожих.

Таким образом, покинув мое жилище, я дошел до острова Сен-Луи, по которому ежедневно проходил до сего дня. Посреди улицы Сен-Луи меня опросили. Я сообщил, что я видел, и что в ту же минуту донесся во весь онор всадник, крича: «К оружию!». Какой-то человек в черном замечает меня, называет по имени; я уклоняюсь и отхожу.

Когда я входил на мост Турнель, чтобы вернуться домой, часовой, маленький человечек, показавшийся мне злобным, задерживает меня с насмешкой и заставляет меня войти в кордегардию. Тут мне и бы бы конец, если бы изверг (зять Ретифа — Оже), заставивший действовать этого озорника, посмел показаться.

Безусловно верно, что меня указали, что часовой не знал меня лично, что маленький черный человечек, заметивший меня, описал меня только по моему красному платью, и что я нашел в кордегардии другого человека, также в красной одежде, которого арестовали вместо меня. Дерзкий часовой повел странную речь и намеревался обыскать меня, впрочем не тотчас, а выйдя на минутку и вернувшись. Без сомнения, он ходил советоваться с доносчиком, который мог меня видеть снаружи. Я потребовал офицера. Мне указали сержанта, который не обратил на меня никакого внимания. Меня охватывало петерпение. Отпустили красного человека, арестованного вместо меня. Мальчуган сказал что-то сержанту, и он вышел. Вернувшись, он стал совершенно другим.

— Вы отпустили первого, — сказал он часовому; — я же отпускаю второго.

Часовой схватил меня за ворот, со словами:

— У меня есть сведения, у меня есть точные сведения! Это именно он — шпион короля!

— По чести, — сказал я, — я — шпион короля, но отнюдь не шпион короля; никогда в жизни я не имел чести быть в прямых спонсированиях с главою Нации... Однако, — прибавил я с твердостью, — офицер меня отпускает на свободу. Часовой! (отталкивая его): повинуйся твоему офицеру!

Таким образом мне удалось уйти. Повторяю: со мною было бы кончено, если бы меня отвели в ратушу. Изверг-

доносчик кричал мне вслед и требовал, чтобы меня повесили на роковом фонаре. В этот день ничего не разбирали.

Но кто так расположил офицера в мою пользу?.. Молодая девушка... В ту минуту, когда меня остановили, хорошенькая брюнетка (Савиньена Фроман), ежедневно видевшая меня на острове, и нередко наблюдавшая из окна, как я писал на перилах мои числа,—слышала, что мой доносчик советовал меня арестовать. В ту же минуту эта особа возвращается со своей кухаркой и окончательно узнает меня, со двора, заглядывая в низкое окно кордегардии. Я в то время объяснялся.

— Ах,—сказала она,—это несчастный „писака“, которого преследовали мальчишки с тех пор, как злой человек, маленький и черный (зять Оже), указал им на него. Он— хороший человек я не раз ходила за ним следом, желая узнать, что он пишет. Это очень невинно, уверяю тебя.

Она подозвала мальчика и послала его в кордегардию вызвать офицера. Сержант вышел, и красивая брюнетка говорила с ним в мою пользу. Вот что склонило его на мою сторону.

Перед уходом я разыскал ее. Несмотря на робость, своюственную ее полу, на необычный день и необычное время, она подошла ко мне:

— Я хочу дойти с вами до дома,—сказала она,—у вас есть жестокий враг, который доносил на вас... я слышала... Дайте мне вашу руку, я буду вас защищать.

Удивленный, сконфуженный, я поблагодарил ее. Часовой вернулся к своему посту. Этот человек был подчинен отцу молодой особы.

— Кто вы?—спросила она.

— Я—автор романа „Развращенный Крестьянин“.

— Вы?.. Ах, если бы мой отец был дома, он бы расцепил вас!.. Давай-ка, Маделона, дойдем с ним до дома... Я интересовалась им, даже не зная его... А ты, несчастный, —сказала она, обращаясь к часовому,—берегись!

Мы отправились.

— Я познакомлю вас с моим отцом, когда вы снова придете на остров записывать ваши цифры.

— Я не приду больше на остров, сударыня! Я его так нежно любил; но теперь он осквернен! Я никогда не приду сюда!.. Увы! И это не первый раз!.. Негодай (зять его Оже) уже однажды арестовал здесь женщину, к несчастью, свою жену... Я не мог проиграть этого моему милому острову!

Однако, я так нежно любил его, что не мог его покинуть... Но сегодня я отрекаюсь от него.. Он оскорблял меня в лице своих детей; я ему прощаю, ибо дети его не стали еще жестоки! В настоящее время, когда они стали жестоки, они могут осквернить остров, повесив меня на одном из гех священных фонарей, которые столь часто освещали мне путь среди молчания и почного мрака! (Обратись назад и целуй последний камень моста Турнель) Ах, остров мой, дорогой мой остров, где я прорыл столько восхитительных слез! Прости, прости павсегда! Французы все будут свободны, исключая меня! Я изгнан с моего острова! Я не свободен прогуливаться по острову! Последнее очарование моей жизни исчезло павсегда!

Я остановился; молодая особа была растрогана.

— Вы вернетесь на остров ради свиданья с нами,—сказала она.

— Нет, нет! Негодай, втоптивший в грязь мою семью, повесит меня на ваших глазах.. Я сюда не вернусь...

И я не вернулся. 14 июля 1789 года—последняя из моих дат на острове...

О, день 14 июля! В 1751 году ты видел мой первый приезд в город, как изображает меня первый эстамп „Крестьянина“! Это ты павсегда отнял меня у полей. И ты же павсегда изгоняешь меня с моего острова!

Мы шли в молчании. Придя ко мне, молодая особа увидала Марион, мою дорогую дочку, и полюбила ее; она любит ее до сих пор; они будут любить друг друга до последнего вздоха.

V.

Король возвращается в Париж (17 июля 1789).

.. Вечером 16 июля, все уста повторяли: „Король возвращается в Париж. Он приезжает, чтобы доказать, что он не сердится на столицу за взятие Бастилии“.

— Пусть попробует!—кричали неистовые голоса.—Но он не придет!

— Приедет,—тихо возражали кроткие граждане (в Пале-Рояль),—он приедет. Мы знаем его доброе сердце.

— Он приедет,—раздается визгливый голос,—а д'Артуа бежит, и увозит своих детей. Все Полиньки уже бежали!..

— Они боятся взрыва! Вы осудили их на смерть! Кому можно запретить бежать от жестокой смерти?

Вот какие речи раздавались в садах, некогда посвященных мечте.

Меж тем Людовик собирался приехать в столицу. В Версали все было в волнении; королева трепещет, принцы бегут, и только один Людовик вооружается мужеством.. Настает утро 17 июля,—Людовик едет.

Два достойных человека: Байльи, добродетельный Байльи, и молодой герой Лафайет приняли бразды городского правления; первый стал во главе гражданских дел, второй—во главе военных. Один летит навстречу монарху; другой подготавливает к этой встрече народ... Байльи подносит ему ключи от города; добрые граждане несут ему ключи от своих сердец.

Людовик въезжает. По дороге набрасывают землю вокруг наведенных пушек, ядер и картечии.

О, Лафайет, будь благословен! ибо ты взял на себя командование, чтобы достойно и послужить родине! Ты принял командование, только чтобы отнять его у интриганов, у людей нечестных, у предателей... Будь благословен, герой обоих полушарий! И ты, Байльи, будь благословен!. Ибо ты заменил человечностью, наукой, моралью, мудростью царившие до тебя угнетение, невежество и бесстыдство! Мы все выиграли, но ты, ты утратил покой и сладкое общение с Музами! Ты изсушаешь твой мозг!. Что я говорю? Ты расходуешь накопленный тобою запас философии на пользу твоей родины, и проводишь, наконец, в жизнь то, над чем ты давно размышлял. Будь благословен!

Я не стану приводить того, что Байльи сказал королю; он передал ему чувства преданности его народа, ибо эти чувства были всеобщи. Людовик ответил в порыве чувствительности:

— Я всегда буду любить мой народ!

Приветственных криков при въезде короля не было; но при выходе его из ратуши, заставы сердец раскрылись: „Да здравствует король!“ вырвалось одновременно изо всех уст. Крики эти разливались по городу; и обитатели самых отдаленных кварталов повторяли их. Женщины и больные распахивали окна и отвечали уличным крикам: „Да здравствует король!“

Другие расскажут о том, что говорилось при дворе и в центре города; я же—ночной наблюдатель, хожу и соби-

раю неизвестные факты. Я видел и слышал все то, что я рассказал; я видел и слышал, что буду передавать дальше...

Присутствие короля, подобно появлению благодетельного солнца, разогнало, казалось, густые облака, покрывавшие наш горизонт. Гром грохотал только вдали; я вздохнул свободнее. Я осмелился пройти по острову. Искал глазами бесстыдного часового. Мой черный доносчик укрывался среди развалин Бастилии, откуда его вскоре вынали... Я не подозревал, однако, что две тучи, не менее ужасные, собирались,—одна в Вири (Вири Шатильон, Сена-и-Уаза), а другая в Компьене; что им суждено соединиться и разразиться над столицей...

Проходя по острову, я увидел любезную брюнетку, спасшую мне жизнь. Она указала меня своему отцу. В ту минуту, когда я был уже на мосту, мне сделали знак; но я остановился лишь на хребте моста, в том месте, которое показалось мне границей между территорией острова и окружом Сен-Николя-дю-Шардоннэ. Там ждал я отца и дочь. Они прибежали и употребили все усилия, чтобы отвести меня к себе. Я воспротивился. Я поклялся никогда не возвращаться на остров.

— Когда я впервые был оскорблен здесь, по гауптенню черного человека,—сказал я им,—я написал властям:

„Берегитесь! вот та степень возбуждения и ослаждания, которая может иметь роковые последствия! Страйтесь не потерпеть этого!“

Апатический де-Крон не пожелал обратить внимание на мою просьбу, и я был оскорблена ежедневно. Но мне нечего было бояться за мою жизнь. Иные, когда крик ребенка, или желание торговки зеленью может привести человека к фонарю, я буду остерегаться, чтобы не дать моим согражданам повода к преступлению. Я постараюсь бежать этих дорогих мест! Мой траур будет заключаться в разлуке с ними. Но добрые жители острова, вследствие этого, делаются мне еще дороже.

Меня тянуло обойти мой остров; неожиданное событие помешало мне преступить мою клятву.

Выйдя из дома, я увидел шестерых вооруженных людей, кравшихся в тени строений. Дойдя до улицы де-Ра (ныне ул. Отель-Кольбер), они произнесли: „Здесь!“

Затем обратились к торговке фруктами и назвали ее имя одного адвоката.

— Он уже давно не живет в этом квартале! Мне сдается, что он живет в улице дю-Жардине.

Вооруженные люди удалились; я пошел за ними.

Я всегда стремился познать человеческое сердце, но в сердце нельзя проникнуть; сердце можно познать только через поступки. Это-то и заставляет меня изучать их, хотя я ог природы не любопытен. Но почему я не любопытен? Сейчас скажу: человек пустой, лишенный собственных мыслей, и женщина без темперамента, пассивная,— люди наиболее склонные к любопытству, ибо чужие действия доставляют им такое зрелище, которое их тем более изумляет, чем менее они понимают его причины. В противоположность этому, человек, который много думает, который занят внутренне, у которого живые страсти,— не любопытен. Он часто в самом себе носит драму, которая его интересует более, чем чужие страсти. Отсюда то, что я должен делать над собой насилие, чтобы быть любопытным, подобно тому, как другие делают над собой насилие, чтобы не интересоваться чужими делами. Отсюда то, что я никогда не выкидываю никаких штук, не плету никаких хитростей, ибо мне это не нужно ни чтобы развлечься, ни чтобы прогнать скучу: я никогда не скучаю.

Я шел следом за шестерыми людьми. Они направлялись к Сорбоннской площади, взяли там еще несколько человек; затем пришли в улицу Отфель, пополнили еще свой состав; затем отправились в улицу Жардине. Адвокат был дома; но, испугавшись, при виде тридцати или сорока человек, он хотел выпрыгнуть в окно. Упал и разбил себе голову... Его отнесли к доктору, а оттуда в тюрьму... Что он сделал?.. Написал памфлет, где умолял парижан „не пугать своих соотечественников, не уничтожать торговли“.

VI.

Казнь Фулона и его зятя Бертье де Совиньи (22 июля 1789 г.).

Умы начали успокаиваться, с минуты возвращения короля в Париж. Он приехал сказать народу, что все, что было сделано, было сделано не против него, а против злоупотреблений,— а Людовик не имел с ними ничего общего.

Меж тем по городу прошла глухая молва:

„Управитель Парижа (Бертье де-Совиньи) арестован в Компьени, у него захвачен портфель, в нем нашли бумаги...“

Какие бумаги? Никто их не видел. Двести пятьдесят человек парижской гвардии отправились за ним. Его везут.

Распространявшиеся слухи оказались роковыми для его тестя, уже давно служившего министром для ненависти народа, благодаря своему огромному состоянию и своей жестокости... Фулон принял предосторожности и распустил слух о своей смерти. Он укрылся в имени, в нескольких верстах от Парижа. Доходившие вести заставляли его трепетать. 21-го вечером, стоя у низкого окна, он услышал, как трое крестьян между собой говорили.

— Он здесь!.. Он говорил, что, если мы голодны, то можем есть траву. Надо его отвести в Париж, набив ему рот сеном...

Эти слова повергли его в ужас. Среди ночи он покидает дом, один, без шума, никем не сопровождаемый,— в семидесят четыре года,— и отправляется искать убежища в Вире, к де-Сартину.

По за ним следили. За ним шли. На полдороге крестьяне схватывают его. Хотели его повесить, но, по размышлению, остановились. Его связывают, кладут в зад телеги, затаивают ему рот сеном, за рубашку насыпают колючек, и в таком виде везут в Париж!.. Но приезде ведут его в ратушу: избратели трепещут. В эти дни волнений обвиняемый уже был виновен. Фулон остается в ратуше шесть часов. Он говорит, его слушают, и тот, кто вчера еще возбуждал окружающих зависть,— несчастнее последнего нищего. Ужас, вызываемый ревом, раздающимся по его адресу, заглушает жалость...

Меж тем его задерживали, ожидая минуты успокоения, чтобы отвести его в тюрьму. Вдруг ярость удваивается: люди, доставившие Фулона в Париж, желают видеть свою жертву. Его им показывают. Они хотят убедиться, что это он. Злополучный старик, чтобы его могли видеть, становится на один из привезенных с ним сундуков... Трудно поверить дальнейшему, но я записываю это со слов очевидца,— маленький коренастый человек бросается вперед, раздвигает стражу, схватывает Фулона и бросает его в толпу тех людей, что его ожидали: его волочат по земле, бьют, подходят к роковому фонарю; привязывают, один его поднимает, в то время, как другие тянут за блок. Старик, уже полумертвый,

задыхается... Веревка обрывается. Ему отрубают голову от туловища, которое тащат по уличным лужам, а голову насаживают на шест и несут в Пале-Рояль, приют сладострастия и ужаса...

То была лишь прелюдия этой ужасной ночи. Ты приближался, злополучный Бертье... Пусть не подумает читатель, что я жалею тиранов, угнетателей народа. Но я жалею человека, и ни что человеческое мне не чуждо!...

Бертье находился в Версале, когда захватили его портфель. Кто-то из его семейных бежит предупредить его об опасности. Управитель Парижа уезжает в Суассон. Там он узнает, что его распоряжения нужны в Компьене для отправки хлеба. Он мог бы послать свою подпись, но он отправляется лично. Выходит из кареты. Местный уполномоченный только что переехал в прекрасный, заново отстроенный дом. Управитель должен спрашивать, где тот живет. Его внешность выдает его, несмотря на то, что на нем круглый парик, серый фрак и железные прижимки на башмаках. Ему указывают дом уполномоченного. Он входит. Там завтракают.

Тем временем компьенец, к которому он обратился за справкой, говорит другому:

— Я только что говорил с человеком, в котором я узнал управителя Парижа; знаешь ли ты его в лицо?

— Знаю.

— Войдем под каким-нибудь предлогом!

Они спрашивают уполномоченного. Ему докладывают. Так как предстояло говорить, в виду особых обстоятельств, уполномоченный выходит и в ту минуту, как он приоткрывает дверь, управитель узнан. Вошедшие что-то бормочут и выходят.

— Это он,—говорит второй.

— Да, это он, надо его арестовать!

Вот как началось злополучие Бертье.

Неподалеку жил плотник, собственник дома. Ему-то открылись сба человека. Они встретили в нем горячую поддержку своему плану; к ним присоединилось еще десятка два людей. Они окружают дом. Слуга уполномоченного предупреждает хозяина о том, что на дворе шум.

— Это требуют вас!—говорит Бертье уполномоченный, полный ужаса.—Постарайтесь скрыться через калитку в конце сада.

Управитель идет туда. Осторожно открывают калитку, никого не видно. Но и компьенцы, не зная, что предпримут преследуемые, засели в засаду. Они подходят к управителю,

и, с тем зубоскальством, которое крестьяне напускают на себя, когда считают, что им нечего бояться, говорят:

— Это управитель? Ха, ха, как это вы очутились здесь? Куда же вы направляетесь?

— Иду домой.

— О, нет, вы останетесь с нами!

Его схватили. Приставили к нему стражу из двадцати человек, не считая тех, что были на дворе, и написали в Париж.

Муниципалитет того времени, состоявший из избирателей, отрядил двести пятьдесят человек, чтобы привести управителя в Париж.

Тем временем слух о грозящей ему опасности распространяется; его старший сын бежит в Версаль; он молит депутатов пощадить жизнь его отца.. Но что могли они сделать в то время? Рассеянные вследствие ремонта залы, они не имели даже помещения для собраний. Бертье привезли в Париж в самый день смерти его тестя. Было восемь с половиной часов. Сопровождавшие его выбили доски из его кареты; сломали верх... По улице Сен-Мартен молодые и красивые женщины кричали из окон:

— Повесить! Повесить!.. На фонари!

В эту минуту какой-то несчастный, в лохмотьях, представляет Бертье насаженную на шест голову его тестя!.. Одна из женщин, что кричали: „На фонари!“, падает без чувств; другая разразилась выкидышем; третья умерла от ужаса..

И тем не менее, Бертье не видел ее! Удрученный, хотя он и не сомневался в ожидавшей его участи, он ехал, опустив голову и закрыв глаза..

Наконец, он—в ратуше... Теперь я становлюсь сам очевидцем.. Его допрашивают. Он отвечает, что ни в чем не виновен; что он только исполнял приказания... Его прерывают.. Он замечает, что он четыре ночи не спал. Просит перенести допрос на следующий день. Ему объясняют, что он будет отведен в Аббey. Через семь минут он выходит из ратуши. Посреди лестницы, засыпана криками ярости, он говорит:

— До чего странен народ, со своими криками!

В ту же минуту, обращаясь к гренадеру на часах, он прибавил:

— Они внушают мне страх, друг мой; не покидай меня! Гренадер дал ему обещание. Была ли то ирония?

Подойдя к крыльцу, группа, состоявшая из тридцати, отбрасывает стражу; Бертье схватывают, тащат, бьют. Озорник, лет пятнадцати, сидя верхом на перекладине

фонаря, ждет его. Я видел, как закачалась веревка... Я могу здесь свидетельствовать, что смерти требовали только пять - шесть лиц; человек тридцать мальчишек-оборванцев поддерживали их с озорным смехом, но без ярости... Стоя у фонаря, Бертье, видя наконец неминуемую смерть, воскликнул: „Предатели!“ Он защищается, вступает в бой со своими палачами. На него нацидают мертвую петлю. Его поднимают. Рукою он хочет поддержать тяжесть своего тела. Подходит солдат, чтобы отрубить ему руку, и перерезает веревку... Жертва падает на одного из палачей и раздирает ему щеку... Его поднимают еще раз, но веревка вторично обрывается, и его умерщвляют у подножия фонаря, распарывают ему живот и отрубают голову...

Я останавливалась на этих подробностях, которых не видел, хотя и был там. Бертье вешали, отрубали голову, а я думал, что он еще не выходил из ратуши... Вдруг передо мною мельнула его обезображеная голова... Меня охватил ужас...

Я бегом отправился в Пале-Рояль, увлекаемый другим человеком, побежавшим также туда. Какой-то вешун определил нас, ибо там уже были известны все подробности смерти Бертье, и объявляли, что в Пале-Рояль принесут его голову... Мы удалились, чтобы не видеть ее еще раз, и пошли по улице Дофин, опасаясь набережных, лежавших по дороге к Гревской площади. На перекрестке товарищ Бюси покинул меня, и я спокойно направился по улице Сент-Андре (шаги часть ул. Отфейль). Я шел, низко опустив голову, погруженный в свои мысли, как вдруг, близ улицы Эперон, я очутился в толпе двадцати озорников, которых видел уже на Гревской площади. Они разделились на две группы и тянули за веревку, привязанную к двум ногам трупища... лишенного головы. Они кричали: „Вот управитель Парижа!“ Дрожа, я отпрянул назад, чтобы не попирать ногами окровавленный труп. Мне видна была только спина. Рассказывают, что три женщины скончались от потрясения и ужаса в улице Сент-Андре. Что касается меня, то я не мог отвернуться от трупа, на который должен был смотреть, чтобы не наступить на него... Придя домой, я почувствовал себя дурно, и дети мои принуждены были ухаживать за мной.

* * *

Другие иначе рассказывают конец Бертье, изложенный мною выше, согласно народной версии. Говорю со слов достоверного свидетеля.

Управитель Парижа закупил запасы хлеба за счет государства; он распределил их в провинциях, в обмен на боны уполномоченных и других администраторов. Торопясь сдать счета, он собирал эти различные боны. Он припомнил в Суассоне, где он находился у своей дочери, м-те де-Блоссак, что он должен был получить один бон в 45.000 ливров в Компьене.. Он решил отправиться туда, несмотря на уверения и мольбы его зятя и дочери. Последняя бросилась перед ним на колена. Он уехал, в сопровождении преданного слуги. Прибыл в Компьень, он позавтракал у уполномоченного и хотел пройти в замок повидать некоего Тьеरри. Супруга уполномоченного взяла его под руку. Они отправились в замок. Но Тьеरри в то утро уехал. Управитель возвращался обратно со своей дамой, как вдруг был узнан одним сторожем. Этот человек осведомился у него, не он ли управитель Парижа.

— Да, а что из этого?

— Я вас арестую.

— По какому праву?

— Я вас арестую.

Спор привлек окружных жителей. Управитель арестован и отведен в ближайший дом, принадлежащий плотнику. Там его держали, пока посыпали в Париж. Два дня и две ночи он провел без сна, терзаемый и осыпаемый оскорблениеми. Между тем, он оставил портфель свой в карете. Его схватили спустя три часа. За ним побежали, но слуга исчез вместе с портфелем и возвращался в Суассон полем. Он прибыл туда, не будучи схвачен. Там открыли портфель. Один из свидетелей утверждает, что там ничего не оказалось, кроме некоторой суммы золота, и на 45.000 ливров этих бон, которые интендант собирал, когда его арестовали.

Остальное сходится с первою версией.

VII.

Октябрьские дни; король, королева и дофин привезены в Париж (5 и 6 октября 1789).

Я оставляю в стороне все факты второстепенного значения... К тому же я занимаюсь, увы, исключительно Парижем, этим милым городом, шедевром и чудом мира, столицей превосходящим Лондон и другие столицы...

Всем памятны шумные сборища Пале-Рояля, на которых Сент-Юрюж, играя второстепенную роль, думал, что исполняет первую. Брожение, вызванное ими, было длительно. Оно тлело под пеплом до первых дней октября.

4 октября началось извержение: слышен был подземный гул. 5-го, подобно огненным жерлам Везувия или Эtnы, извержение началось вдруг, с оглушительным треском. На этот раз возмущились парижские женщины. Вздорожание хлеба послужило предлогом; план перевезти в Париж короля и Национальное Собрание—истинным походом. Правда, что то было единственное средство избежать голодна и хоть несколько оживить торговлю Парижа... Я не суждаю этого проекта. Он доставил те выгоды, которыми пользуюсь и я, а разве можно жаловаться, когда что-нибудь получаешь?

Ранним утром торговки рынка собирались группами, чтобы идти в Версаль, сами по себе эти женщины не представляют опасности; они—добрые гражданки; но к ним примешались мужчины, желавшие провести план Национального Собрания.

Женщины рынка, с примесью указанных элементов, обходят улицы, останавливая всех способ женского пола, и доставляя себе коварное удовольствие заставлять плакать по грязи женщин и девушки высшего общества. С ними были маркизы, графини и, между прочим, одна баронесса, исполнявшая свою роль, повидимому не без удовольствия.

Часть женщин, вооружившись, отправилась в путь в полночь, и даже несколько раньше. Между ними было много мужчин. Мужчины были вооружены. Народ упрашивал Лафайета также отправиться в Версаль. Но разбойники, извлекающие выгоду из всех волнений, прогнали депутатов, и командующему, чтобы выступить, нужен был приказ со стороны муниципалитета. Юный герой, тем временем, жаждал выступить. Он знал, насколько его присутствие в Версале было необходимо.

Пока длились хлопоты, толпы женщин уходили. Среди женщин была одна, довольно молодая и красавица, которая, сидя верхом на пушке, запряженной парою лошадей, казалась командиршей женских батальонов:

— Идут ли за мной?—спрашивала она беспрестанно.—Подвигайтесь же, остальные! Вперед, бесстрашные!—говорила она тем, что отставали...

В четыре с половиною часа главнокомандующий выступил с национальной гвардией. Национальных гвардейцев

выступило множество. Холодный дождь промачивал их до костей...

Первые группы женщин прибыли в 5 часов к решетке дворца. Они хотели принудить королевскую гвардию, стоявшую на часах, отступить от решетки и впустить их. Им отказали. Я не аристократ, я благословляю присутствие короля и Национального Собрания в Париже: я говорю больше, я одобряю смелость честных гражданок, торговок рынка; но лейб-гвардия была бы виновна в предательстве короля и нации, если бы отперла двери переодетым мужчинам и всему сброду, сопровождавшему отряды женщин. Он был, однако,бит, тот, что оказал первый сопротивление; исполнение долга пришлось ему искупить ценой жизни.. Выстрелы в лейб-гвардейцев приписывали версальской гражданской милиции. Нет! нет! То был столичный озорник, мушкетник и ловкач, что первый выстрелил из ружья.

Можно сказать, однако, что за лейб-гвардиями была вина. Цирчество, устроенное в четверг на предыдущей неделе, имело последствия, не только неосторожные, но и преступные, если молва не лжет. Если правда то, что дамы раздавали на нем черные кокарды, то они заслужили строгое наказание; если правда то,—чему я едва могу поверить,—что на нем топтали ногами национальную кокарду, то такое преступление заслуживало бы смерти...

Пока не прибыл Лафайет, преступление и бесстыдство оглашали грозным ревом преддверие дворца. Все было сковано ужасом. Едва удавалось защищаться от насилия, и лейб-гвардейцы, защищая свою жизнь, должны были сделять по нескольку выстрелов. В девять часов появляется Лафайет. Он испуган царящим беспорядком; старается успокоить умы; оружие граждан, прибывших вместе с ним, вносит более успокоения, чем его речи. Он приносит королю уверение в верности парижан: сообщает ему о желании их, и почти тотчас же получает согласие.. Королева, испуганная криками толпы, осаждавшей двери королевских покояев, но успокоенная словами Лафайета, отправилась спать.

Но покоя нельзя было ожидать вблизи толпы нетерпеливой, раздраженной, продолжавшей ожидать и настаивать. Около трех с половиной часов ярость толпы проснулась с новой силой. Воздух огласился пронзительными криками.. В эту-то минуту пришло наблюдать то, о чем так много говорили, а именно, что изнеженность убивает отвагу... Офицеры, воспитанные в роскоши и в довольстве, почув-

ствовали, что мужество их надает: утомленные бессонной ночью, и еще более криками, они дрожали.. Это уже не были закованные в железо всадники времен Франциска I, это были—расслабленные неженки, менее храбрые, чем женщины. Вот каким образом дворянин, выросший в достатке, расплачивается наконец за сбиду и оскорбления, которые он наносил ограбленному им бедняку! Настает час восстания, и изнеженные и богатые приуждены дрожать перед народом, проведшим в труде всю жизнь! Эти офицеры, воспеваемые в пошлых комедиях,—без пушек, которыми они не управляют, без солдат, во главе которых они выступают на конях (ибо ноги не понесли бы их), от изнурающих наслаждений со своими любовницами могут перейти только к позору поражения!..

Я уже сказал, что они дрожали. Мне передавал об этом полковник. Король встал, Лафайет был около него. Людовик XVI не испытывал страха... Но в ту минуту, как он говорит с генералом, слышатся крики: „Спасайте королеву!..“

Королева, по адресу которой раздавались угрозы, просыпается в испуге; она вскакивает с постели и бежит, полунасвая, искать самого надежного прибежища, объятий супруга-короля... Она стучит в дверь. никто не слышит. Ее страх растет. Наконец, крики, долетавшие со двора, внушают королю мысль, что королева могла испугаться. Он хочет пройти к ней. Едва приотворилась дверь, как королева с дофином на руках бросается в объятия супруга, с криком, заставляющим похолодеть от ужаса людей, привыкших ничего не бояться.. Какая сцена!.. Но кем она вызвана?

Толпа напрягала усилия, чтобы высадить двери в покой королевы. Лейб-гвардейцы отталкивали их; но, обреченные народной ненависти, в силу распространившегося слуха, что они стреляли в женщин, они не могли долго устоять, и толпа должна была ворваться. Вдруг гренадеры французской гвардии бросаются вперед, бегут к лейб-гвардейцам, обнимают их и говорят:

— Мы защищаем одно с вами дело!

На другой день Лафайет стал готовиться сопровождать короля в Париж. Король, желания которого предупреждались, торопил отъездом. Тем не менее, он прибыл в городскую ратушу только вечером.. Я говорю это, потому что видел его: лейб-гвардейцы, сливаюсь с народом, с трехцветными кокардами на шляпах, кричали: „Да здравствует король! Да здравствует народ!“...

Королева являла еще более трогательное зрелище. Она показывала народу дофина, сидевшего у нее на коленях; уверяли, что дитя несколько раз говорило что-то; но в этом я не уверен.

В восемь с полувиной часов король вернулся из ратуши в Тюильери.

Судили, приговорили и казнили мнимого маркиза де-Фавра, интригана и заговорщика (16—19 февраля 1790). Открывают заговор графа де-Майльбуа, который бежит в Бреда. На аббата Мори, возбуждавшего самое сильное брожение во многих умах, нападают при выходе его из Национального Собрания, 13 апреля, вечером; национальная гвардия спасает его от народной ярости. Подобные же нападения делаются на Мирабо-младшего и на Казалиса; их защищают, хотя первый из них выхватывает шпагу. Рассказывают, что одна женщина крикнула ему при этом:

— Депутат, вы—выше частного лица, но гораздо ниже народа. Он вас осуждает; будьте скромны и раскайтесь!

Следующий день навсегда памятен изданием окончательного декрета (14 и 20 апреля 1790), отнимающего у духовенства собственность, соблазнительную и вероотступническую, ибо богатства священнослужителей диаметрально противоположны евангельским заветам...

VIII.

Праздник Федерации.

13 июля (1790) я направился по улице Сент-Оноре, чтобы, перейдя еще раз по мосту, добраться до Поля Федерации (Марсово Поле). Я шел, задумавшись, без плаща. Поровнявшись с Заставой Сержантов (на ул. Сент-Оноре, против ул. Круа-де-Шан), я увидел часового перед дверью, а позади меня человека, плюнувшего мне в спину. Я был удивлен. Я быстро обернулся. Против старинной кондитерской Травера на меня напали три, четыре или пять молодых людей. Они меня обступили, теснят, говоря друг другу вполголоса: „Он отмечен!“. Один ощупывает карман другого вполголоса: „Он отмечен!“. Один ощупывает карманы сюртука, третий карманы жилета; все это во мгновение ока..

— Эй, господа воры, у меня ничего нет!---говорю я им. Убедившись в этом, они меня покинули.

Продавщица газет, стоящая у решетки продавца чулок, сказала им:

— Э, имейте же уважение хотя бы к его званию!

Она приняла меня за аббата. Я был одет в старое черное платье с нашивками.

— Разве вы не видите, что это —воры? —сказала я ей.

— Нет, это —господа!

— Вытряхните, прошу вас, плевок у меня на спине, это их марка!

И она вытерла.

Я продолжал свой путь до Шале-Рояля, где увидел бесстыдное воровство. Я не уклонялся, так как у меня украсть было нечего. Я никогда ничего не носил с собою, с тех пор, как в этом самом черном платье на меня напали на улице Виль-Этюв (ныне ул. Соварль) шесть человек, которые меня отместили, и затолкали. Я во-время угадал их намерение, и посмотрел на них в упор. Но они не обратили на это никакого внимания. Я выбежал и стал рядом с часовым у колонны Медичи, на Новом Рынке (ныне Торговая Биржа).

В десять с половиною часов я вышел из Шале-Рояля, а в одиннадцать дошел до Марсова Поля. Я рассматривал эту работу граждан, и алтарь Отечества напомнил мне прекрасную эпоху Греции.. Не будучи ханжею, я верю в существование высшего начала. Я вознес моление за мой народ:

„Источник жизни! воззри на союз твоих детей! Сделай так, чтобы солнце, совершая свой путь, не видело на земном шаре ничего более великого, чем имя народа французского!“

Пора было возвращаться. Несколько фонарей разливали дрожащий свет...

Я пришел со стороны Тюильри; возвращался со стороны Инвалидов. Я шел, погруженный в мысли, строя предположения о грядущих событиях, надеясь и трепеща... Затем я начал вспоминать историю прошлых времен. Я видел смену правительств, которая никогда не прекращается, безразлично, направлена ли она к свободе, или к деспотизму... Я спрашивал себя, способны ли люди создавать добро или зло.. Я терялся в этих мыслях морального и политического характера, не зная, или, скорее, считая себя уверенным в том, что великие движения приносят всегда большой вред слабым душам, составляющим большинство человеческого рода.

Придя, я лег и заснул вплоть до того момента, как был разбужен барабанами. Я тотчас же встал, чтобы пойти полюбоваться торжеством Федерации. Я прогуливался по всему Марсову Поля. Я видел, как прибывали различные корпорации, Национальное Собрание и наконец король. То был последний праздничный день его жизни. Он был довольно величествен; он казался удовлетворенным; думаю, что это соответствовало действительности. Но те, что его окружали, не могли быть довольны. Я видел, как он приносил присягу Конституции... Никогда обряд не достигал большей высоты, большего величия. Вся Франция, объединенная, стояла в последний раз под старыми знаменами, представляя союз ста различных народов, которые уже давно слились в один народ. Я был взволнован, растроган...

Этот великий день, самый прекрасный в Революции, закончился всеобщим весельем! Лафайет был в то время во всей своей славе.. День этот прошел, как сон.

14-го, вечером, я отправился в кафе Робер, некогда Манури (кафе Режанс). Я застал там всех в опьянении. Один посетитель, слишком обильно пообедавший, страшно шумел и скорился со всеми, кто хвалил Лафайета, а когда какой-то несносный квакер во образе школьного учителя словно поставил себе целью дразнить его, он чуть не зарубил его саблею. Школьного учителя убрали...

Множество событий произошло до 27 февраля 1791 г.; ноочные тревоги, опасения, вызванные во мне моими ночных арестами на острове Сен-Луи 14 июля и 18 октября, вследствие клеветы недостойного Оже,—удерживали меня по вечерам в кафе Робер-Манури.

IX.

Рыцари кинжала (27—28 февраля 1791 г.).

Людовик XVI, терзаемый старыми дворянами, свою жену, сестрою, тетками, а быть может также и сожалениями, при виде того, что его ранее неограниченная власть падает, задумал бежать из Парижа, чтобы броситься в объятия соседних с Францией держав, а потом, с помощью их оружия, вернуться победителем в свое государство. Как мог этот несчастный человек не чувствовать, что это решение было наихудшим из всех, которые он мог принять?.. А вы, Манурид из всех,

рия-Антуанетта, как вы должны упрекать себя?.. Подобно тому, как обычно поступают женщины, когда вмешиваются в дела, вы все испортили! Но вы и без того уже слишком несчастны, чтобы еще отягчать вашу участь...

Людовик, принуждаемый окружавшими его герцогами и братьями, из которых один ему писал, другой его терзал, склонил ухо к проектам бегства. Он совершенно забыл Иакова II. Вечером, 27 февраля (1791), он был окружен придворными дворянами и знатью, т.-е. неосторожными пустобрехами, вооруженными кинжалами, превратившимися в их немощных руках в картонные мечи. Людовик все подготовил для бегства. Лафайет дал согласие. Неосторожное волнение, возбужденное в предместье Сент-Антуан, привлекло его туда. Этим хотели отвлечь внимание от Тюильери... Безумцы! они не знали, что когда открыты миллионы глаз, то они видят повсюду. Все кареты были готовы. Байллы закрывал глаза и предлагал народу предоставить королю свободу. Ни что не может ослепить колосса с миллионом глаз; он видит все, вплоть до припрятанных кинжалов. Тогда его охватывает ярость. Он унижает и оскорбляет дворян; он находит удовлетворение, в том, что обходится с ними так, как в былье времена обходились с цим! Но в эту ночь он не был жесток. Людовик отказался от бегства. Он лично приказал обезоружить тех, кто называл себя его друзьями, но кто в ослеплении тупо думал только о себе. „Ах, подлецы!“—воскликнул Лафайет, узнав об их поведении.

Я был очевидцем части того, что происходило. Я наблюдал в изумлении. К счастью, я был известен нескольким национальным гвардейцам, ибо мой вид наблюдателя мог бы внушить подозрение. Увы! совершенно напрасно. Я никогда не интриговал, не составлял заговоров: убежденный в том, что люди не могут создать ни зла, ни блага, я предоставляю все ходу вещей и событий; я только протягиваю руку несчастному, когда бываю в силах...

Боязнь показаться подозрительным заставила меня покинуть дворец. И так как я давно не был в саду, то пошел вглубь его... Я вышел из Тюильери по террасе над рекой, по жерди лесов, которые я увидел вдоль стены. Был уже час ночи, когда я вернулся домой.

Жители Парижа противятся отъезду короля в Сен-Клу (17—18 апреля 1791 г.).

Два месяца спустя, я узнал в кафе Робер-Манури, что король на другой день должен отправиться в Сен-Клу. В числе посетителей находился якобинец, из тех, что называют „ярыми“:

— Нельзя допустить этого путешествия!—воскликнул он. — Здесь кроются козни, и Лафайет, равно как и Байллы—в заговоре!

Он долго ораторствовал. Одни были на его стороне, другие его порицали и выказывали доверие Людовику. Но как ни секретно велась беседа, одна женщина, служившая во дворце судомойкой (она еще появится), все слышала. Не Байллы и не Лафайета пошла она предупреждать. Она прямо отправилась к якобинцам, которые находятся в двух шагах от кафе. Она вызвала знакомого и рассказала ему то, что узнала и как узнала, то-есть все дословно. Якобинец сговорился с небольшой группой своих товарищев; все же их оказалось достаточно, чтобы пойти и поднять предместья Сент-Антуан и Сен-Марсель. Не забыли также и секцию Тюильери.

Я отправился в окрестности этого сада, в который не мог войти. Я обошел дворец. Я заглядывал в двери, выходящие на площадь Карусель, как вдруг в двери, что примыкает к галлерее Лувра, я увидел двух женщин, которые, спустившись с узенькой лестницы, подходили к двери. Я отошел в сторону. Им отперли тихонько, и они вышли. Привратник или тот, кто его заменил, поглядывал по сторонам, словно ища кого-нибудь; он увидел меня и дал мне большой узел, со словами:

— Идите за ними издали, ваш товарищ отправится через четверть часа.

Я взял сверток и пошел за женщинами, шагах в сорока; шли они очень быстро и молча. Старшей на вид было года двадцать два; она была мила и стройна; второй было, казалось, не более шестнадцати лет. Они дошли до конторы экипажей, по ту сторону Королевского моста, где во дворе их ждала карета. Тут я увидел, что они обернулись, и я передал им сверток.

— Что такое?—сказала мне старшая:—А где же мой....

Она остановилась.

— Второй сверток прибудет через несколько минут,—сказал я ей.

— Кто вы такой?

— Неизвестный; но я думал, что не могу отказаться доставить сверток.

— Ах, небо!

— Не бойтесь ничего, сударыни, две особы в вашем возрасте и с вашею внешностью не могут иметь дурных намерений.

Старшая предложила мне денег, желая вознаградить мой труд, но я удалился. Мой коллега прибежал, запыхавшись, с другим узлом, который он бросил дамам к ногам, весьма изумленный тем, что видит первый. Он говорил с ними слишком тихо, чтобы я мог расслышать их слова, за исключением последних: „Мне надо его увидеть“! Он побежал в сторону Королевского моста, но я спрятался за дверь, позади экипажей. Я оставался там до его возвращения. Тут дамы сели в карету и поехали по мосту. Я не видел ви одного патруля. Я вернулся по набережной Вольтера к набережной Валле (наб. Огюстен) в полночь... С этими молодыми особами мы еще встретимся.

На другой день, возбужденный тем, что я слышал вечером и узнал ночью, я отправился в Тюильери. Согласно политике Лафайета, разрешалось подходить всем. Было шумно, но этот шум походил на голоса множества людей, которые говорят все сразу. Между тем я заметил, что заранее подготовленные люди устанавливают значительные группы вокруг кареты короля, и вдоль мостовой, под стенами Тюильери; я предположил с этого момента, что Людовик не уедет. В то время у меня, как у многих, было большое доверие к Лафайету, которого я считал сторонником Революции. Людовик выходит; он садится даже в экипаж. В ту же минуту ужасные крики раздаются из расставленных групп. Главнокомандующий и мэр увершают народ отпустить короля уехать, но они говорили словно глухим.

— Ладно,—отвечала одна женщина,—нас уже однажды обманули, но теперь мы не дадимся. Все подготавливается; тетки уехали в силу прекрасных декретов Национального собрания, которое разрешает уезжать тем, которые должны оставаться. У нас есть свои причины! Где тетки? Читают чолитвы в Риме? Но разве они не могли бы делать того же в Париже? Их задержали в Морэ. На нашу Национальную гвардию накинулись с саблями наголо эти собаки про-

дажных войск, которые только и ждут минуты перерезать народ, если двор отважится на это.

— По чести,—говорит другой человек, обращаясь к двум женщинам,—ведь король все-таки удерживал до сих пор этих придворных разбойников и не давал им отваживаться на это. Он—лучший из всех четырех. Итак, пусть он остается с нами, а все остальные пусть убираются, если хотят. Найдем! пойдем! отпряжем карету!...

Лафайет отдает команду; ему угрожают. Он так взбешен, как только может быть взбешен блондин; но он, видимо, сдерживает свой гнев.

— Ага,—кричит ему один человек,—ты позволил уехать теткам; но ты не увезешь короля!

— Нет! нет!—кричат женщины.

Толпа на разные голоса повторяет: „Нет! нет!“

Шум стоял такой, что голова кружилась, и человека охватывал страх. Толпа, однако, не имела намерения, повидимому, покинуть своему штабу, который обходил ряды, выведывая. Офицеры доложили об этом Лафайету, который выслушав их, подошел к окну кареты что-то сказать. В эту минуту особенно усилились крики против беглых теток; их осыпали проклятиями. Это более, чем все остальное, наводило ужас.

Так кончилась вторая попытка. Людовик принужден выйти из кареты и подняться в свои покой. В эту именно минуту Людовик произнес прекрасные слова:

— Если мой отъезд должен стоить хотя бы одну каплю крови, я не еду.

Якобинцы удержали его в это утро от крупной неосторожности. Этот злополучный был бы счастлив, если бы его тайны всегда открывались с такой точностью! Ибо ясно, что ехал он в Сен-Клу только, чтобы убежать оттуда. Его мнимые друзья вели его к гибели и, сами того не понимая, закрепляли также и свою. Да, что бы ни случилось,—вельможи, дворяне и аристократы всех рангов навсегда погибли не только во Франции, но и во всей Европе, если не в 17..., то в 18..г.! Толчек дан; начинается новый порядок вещей. Меня, Филина-Наблюдателя, тогда уже не будет в живых; но вы, которые будете жить, отдайте должное тому, что мне открыло мое предвидение вещей.

Так прошел день 28 апреля; он вызвал в Людовике раздражение против парижан. Тверже, чем когда-либо, он решил их покинуть.

Выйдя против моего обыкновения днем, я возвратился через Лувр... Я собирался засесть за работу...

Бегство в Варенн (20—21 июня 1791 года).

Настало наконец ужасное время, которое подготовило событие 21 января 1793 г.! В столице царило полное спокойствие, установленное Лафайетом, который, вместо всяких казней, прибегал в эту минуту только к инертности. В 9 часов вечера я был в кафе Манури. Якобинец, которого с тех пор мы прозвали маратистом, появился в десять с половиною часов, мрачный, задумчивый. Он потребовал лимонаду и принял ораторствовать против Лафайета, с жаром, который совершенно не охлаждался его напитком. Я сказал Фабру, тоже якобинцу, но кроткому:

— Сегодня что-то неладно; наш „неистовый“ сердится..

— Нет, я так же, как и он, пришел от якобинцев, все спокойно.

Что-то мне говорило, что это не так. Я вышел из кафе, направился в сторону Тюильри и, дойдя до бараков дворцовых гренадер, я остановился. Я слышал глухое движение; я видел людей, шедших поодиночке, но недалеко друг от друга. Я ощущал внутри себя мятежное волнение; казалось, тревога тех, что бежали, воспламенила и меня. Физическое в человеке порою разве не может заменить моральное?

Пока меня волновало множество смутных мыслей, я услыхал какой-то шум за большим офицерским бараком. Я потихоньку отправился посмотреть, что там. Я увидел человека в одежде швейцарского гренадера. Я испугался, ибо, кроме того, что эти люди не дают себя сразу увидеть,—согласно поговорке,—он мог быть еще и пьян. Я отошел на несколько шагов, чтобы пойти и притаиться за другим бараком. Я ждал там около четверти часа, что, без сомнения, заставило меня пропустить более важное событие. Я увидел наконец, как швейцарец выходил из барака, где была сложена солома, вместе с женщиной, высокой и хорошо сложенной, с завязанными глазами.

— Стой здесь,—сказал он ей жестко, но очень тихо,—до тех пор, пока я не буду очень далеко.. И будь осторожна!

Он направился к новой решетке. Я не пошел за ним. Меня удерживала надежда заговорить с женщиной.

В самом деле, как только человек прошел в калитку, я приблизился к ней:

— Сударыня,—сказал я ей,—я все видел. Не могу ли я чемнибудь помочь вам?

— Да, вы кажетсяе мне честным. Дайте мне руку и возвмите сверток, который мой слуга уронил, получив удар саблей от швейцарца, только что покинувшего меня.

— Не причинил ли он вам насилия?

— Я не скрою от вас того, что вы видели; у него в руках был штык, направленный в мою грудь. Я уступила.. Пойдемте!

Она заставила меня выйти в ту же калитку, в которую убежал швейцарец. Мы были посреди площади Карусель, когда дорогу нам пересзала огромная карета, ехавшая шагом. Слуга дамы оказался там. Он подошел к нам и взял у меня сверток. Дама поблагодарила меня, прося меня удалиться и уверяя меня, что я подвергаюсь опасности. Я последовал ее совету. Минуту спустя, я обернулся, чтобы взглянуть на нее. Она исчезла. Но я подумал, что она села в большую карету. Я не видел ничего иного, что могло бы ее скрыть. Кто она? Кому принадлежала карета? Каждое лишнее слово могло быть большой ошибкой; не следует произносить его. Я видел только, что она не сняла с глаз повязки.

Я пошел прямо домой, сильно раздосадованный тем, что не убедил ее развязать повязку на глазах. Шум, который я заслышал на мосту Сен-Мишель, заставил меня вернуться и пойти по улице Жиль-Лекер (Жи-ле-Кёр), которая показалась мне вполне спокойной. На углу улицы Ирондель, на пороге, стояла женщина, хозяйка притона. Она меня окликнула. Я спросил, что она делает так поздно на улице, по которой никто не ходит?

— Откуда ты идешь?—спросила она.

— Из Тюильри, от площади Карусель.

— Разве ты к этому причастен?

— К чему?

— О, теперь ты можешь сказать об этом,—это, должно быть, уже сделано.

— Я проводил одну даму..

— Ну, значит, ты к этому причастен!.. Я ожидаюсь тут одного швейцарца, который тоже участвует в этом, и который, чтобы не возвращаться в казарму, должен прийти ночевать сюда. Он не знает хорошенъко, где я живу, ему известна только улица. А в такой поздний час не у кого спросить...

В это время со стороны набережной послышались шаги.. Я тотчас расстался с женщиной и пошел по улице Ирондель, но спрятался в закоулке, который образует старая рисовальная школа. Кто-то шел. То был швейцарец, тот самый, которого я видел выходящим из за бара. Он поднялся в женщине, и я быстро вернулся к двери. Они говорили громко. Женщина, заслышав мои шаги, выглянула из окна без стекол, освещавшего лестницу. Она проводила швейцарца и вернулась ко мне.

— Он наверху, в комнате, с девицей; но может быть, ты сам в таком же затруднении, как и он?.. Если хочешь, я помешу тебя у себя.

Я согласился. Она удостоила отвести мне постель в своей комнате, но, к счастью, то была не ее постель. Мы улеглись молча, и я заснул крепким сном. Около четырех или пяти часов утра, я был разбужен шумом, который производил швейцарец, вставая; ибо его комната была отделена от нашей комнаты лишь тонкой перегородкой. Он принял седовать с хозяйкой:

— Мой не попробовал твоя девица ни крошка; мой хорошо поушинал другой девица вчера вечером: она биль много лутше!

— Удалось ли все выполнить?

— Што ты думаешь сказать?.. Ешли ты знаеш то, што кажешься знать, мой отрешет твой голова! Не снаеш?

— Нет! нет! — отвечала хозяйка исхуганно.

— Твой хорошо стелает, ешли все забыль!

Он почти тотчас ушел, а я вернулся домой, ничего не зная еще о совершившихся событиях. Я чувствовал только, что произошло что-то очень важное.

* * *

Первая, кто подняла тревогу, была та самая кухарка, о которой уже говорилось выше. В шесть часов, в то время, как я выходил от хозяйки притона, она отправилась в свою секцию и сделала следующее заявление:

„В одиннадцать часов меня тихонько заперли в моей комнате, в двери которой я оставила ключ; затем, в течение полутора часов, я слышала, что много ходили взад и вперед. Моя дверь оказалась снова отпертой, но я не слыхала, как ее отпирали, и заметила это только, когда снова попыталась выйти. Я тотчас же оделась и высунула нос наружу. Я спросила у первого часового, не случилось ли чего. Он

ничего не знал; но, спустившись в галлерейю, я заметила волниение; я даже слышала, как кто-то сказал вполголоса:

— Говорят, что король уехал, но куда он мог уехать? Не иначе, как в Сен-Клу!

„Узнав многое из этих немногих слов, я поняла, зачем меня запирали. Я увидела, что план побега был хорошо обдуман. Я обращаю ваше внимание на время побега, которое должно быть между полночью и часом утра, если судить по тому движению, которое я слышала. Выйти можно было только дворами, выходящими к проходу из Тюильри на улицу Эшель меж тем, как другие кареты стремились быть задержаны на площади Карру塞尔, чтобы отвлечь внимание“.

Эта женщина предполагала правильно.

Я сел за работу по возвращении домой. Я узнал о событии только при моем первом выходе, в полдень. Я не узнал бы даже о нем раньше вечера, но услыхал необыкновенную болтовню прачек на моей улице, и несколько слов ясно долетели до моего слуха.

— Он бежал сегодня ночью с дофином, с королевой, с Елизаветой, дочерью.

Тут я понял, что случилось большое событие! Я оделся и вышел: несчастие подтвердилось. Я встретил в конце Нового моста и Валле (место продажи птицы на набережной Огюстен), астронома Лаланда, бледного, расстроенного. Из этого я заключил, что он не был аристократ. Все были поражены ужасом. Я отправился в Тюильри, в Шале-Роэль. Вернулся по улице Сент-ОНоре. Я видел, как повсюду сбивали королевские гербы, вплоть до вывесок нотариусов. Таким образом, действительно, королевская монархия была уничтожена во Франции в этот именно день. Три дня волнений и тревоги! Меж тем вечером, 22-го (июня 1791), в Париже узнали об аресте в Варенн (Варенн-в-Аргонн, Мез) Людовика и его семьи. Передавали, что начальник ставки Сент-Мену сказал форейтору:

— Сгой, или я буду стрелять в карету!

Людовик сказал:

— Если так, то остановите!

Ему отвели комнату в трактире.

То была его первая тюрьма.

* * *

Одна мысль занимала все умы 21, 22, 23, 24 (июня 1791). В этот день Людовик должен был вернуться в Париж;

но что это было за возвращение! Два комиссара Конституанты, Барнав и Петион, были посланы за ним в Варен и везли его обратно. Париж ждал его с вечера 23, и я, вместе с другими, отправился к Тюильери. Там мы узнали, что он не приедет, и каждый пошел обратно. Погруженный в раздумье, я направился в сторону Елисейских Полей, не замечая, что отдаляюсь. Я миновал место, где находился столь недолговечный Колизей (здание для празднеств и спектаклей, вблизи улицы Пентьевр и Елисейских Полей), мимолетное создание последнего и ничтожнейшего из Фелипо, несмотря на все зло, которое он сделал! Мне вспомнились слова псалма: *Transivi et non erat* (я снова проходил, но его уже не было). Дальше я миновал то место, где был захваченный сад маркизы Помпадур. „Увы, сколько блестящих существований погибло на веки!“ воскликнул я. „И многие другие пройдут также бесследно“. Затем я прошел до решетки Шайльо, и, перенесясь в прошлое, припомнил, как восхитительно я нирвал там однажды с моим приятелем Бударом и с тремя актрисами... Я вспомнил один еще более очаровательный обед с другом моим Рено и с красавицей Дешап, героиней предпоследней новеллы моего XXXII тома „Современници... Я отдался воспоминаниям о Зефире, этой жемчужине чувствительности, и о Виргинии. Но тут я заметил, что я заблудился. Я повернулся назад. Пробило одиннадцать часов. Я пошел вдоль сада, так как здесь было безлюдно. Оставив за собою улицу Мариньи, я умерил шаг. Мужчина и женщина сидели в саду, на внутренних перилах рва, отделявшего их от меня. Я двигался бесшумно, и высота изгороди скрывала меня от их взглядов.

— Вот жестокая Революция,—говорил мужчина:—и не видно ей конца! Уехать заграницу, значит оставить поле врагам. А между тем, если я не уеду, я буду обесчещен. Мне уже прислали пралку. Я ответил, что я здесь необходим. Я расчитывал ехать завтра; но вот теперь везут обратно короля! Кто знает, что будет дальше? И к тому же, как выехать?

— Необходимо было эмигрировать, сударь, — отвечала дама:—о лежащем на вас долге не рассуждают. Что делаете вы здесь, вблизи слабого короля, являющегося вам большим врагом, нежели демократы? Я надеюсь, наконец, что он погибнет, что раз его схватили. Понимаете ли, сударь, сколь это было бы выгодно для нас и для всех честных людей, если бы голова слабого Людовика упала? Вы видите, как подня-

лась бы вся Европа, как объединились бы все короли! Вы увидали бы и наемных солдат, которые служили бы нашему мщению, как собаки, которых выпускают на других собак. У нас нет иной надежды на спасение, кроме смерти Людовика XVI. Пока он жив, пока он сохраняет хоть видимость власти, свободы, хорошего обращения,—мы погибли, и державы будут действовать слабо.

— Ах, сударыня, как вы плохо их знаете! Я знаю их лучше вас, эти державы, от которых вы ждете помощи, и восстановления в ваших правах! Они втайне радуются... печальному положению могущественной страны, которой они прежде завидовали; они выживают благоприятного момента, чтобы наброситься на нас и уничтожить нас всех, и дворян, и разночинцев. Перестаньте обольщаться, сударыня. Наше положение ужасно. И если бы я был склонен повиноваться чувству ненависти более, чем рассудку, то я не преминул бы тотчас стать в ряды революционеров.

Тут дама встала и поспешно удалилась. Мужчина стал звать ее. Я расслышал только слова: „Нет! нет! я никогда больше не захочу вас видеть“.

Он пошел за нею. Я ему крикнул:

— По какой быtonи было причине, но делайтесь патриотом! Я поспешно удалился.

Домой я пришел в час ночи, не встретив ни одного патруля...

* * *

На следующий день все было в движении. Молодые люди и мужчины не старше сорока лет были под ружьем. Беглеца ждали только к вечеру.

Я присутствовал при въезде Людовика, на которого я смотрел с этой минуты, уже как на лишенного престола. Национальная гвардия стояла двойною изгородью от бульваров до замка Тюильери. Глубокое молчание царило, прерываемое изредка каким-нибудь заглушенным ругательством. Он въехал, предваряемый тысячью ложных слухов; его кучеров принимали за закованных в цепи вельмож, хотя они и не были закованы. И Людовик очутился снова дома, но опозоренный ложностью своего шага. Однако, он не был за него наказан даже естественным ходом вещей. Учредительное Собрание, верное своим принципам, декретировало, что Франция— monarхия, извинило короля и думало расположить его к себе, оставив ему весь гот почет, который еще могло ему

оставить. С этой минуты Ламеты и Барнавы изменили свой взгляды. Мирабо, великого Мирабо уже не было, с начала апреля. Что сделал бы он в эту минуту? По тем сведениям, которые у нас были о нем с тех пор, можно предположить, что он всею силою содействовал бы восстановлению монархии, что он заставил бы войти в свои планы иностранные державы, что у нас не было бы войны,—но во что бы мы превратились? Это нетрудно вообразить, зная,—а это знают все—деспотический и жестокий до варварства правитель великий Мирабо. В наши дни он сделался бы новым кардиналом Ришелье, а Людовик XVI, подобно Людовику XIII, был бы только первым рабом. Ламеты, Барнавы и кое-кто еще получили бы назначения, сообразно изменившимся обстоятельствам; Лафайет был бы генералиссимусом или, быть может, коннетаблем; но Мирабо был бы первым министром. Принц Орлеанский потерял бы все, во всех отношениях; Мирабо не стал бы слишком церемониться в выборе средств, чтобы отделаться от него. Я знал частную жизнь Мирабо, пока он был жив, благодаря одному из его секретарей, человеку достойному, с которым он обращался, как с каторжником.

Повидав въезд Людовика, я вернулся в предместье Сент-Оноре, через площадь с конным изваянием.

XII.

Сборище на Марсовом поле для подписания петиции о низложении короля.—Стычки и убийства (17 июля 1791).

16-го (июля 1791), вечером, я отправился в Сен-Жерменское предместье.

Глухое брожение волновало умы с самой минуты бегства и ареста Людовика. Якобинцы и их вожди желали Республики; но не в их силах было провозгласить ее. Они через клуб Кордельеров заставили предложить петицию, которая должна была быть подписана на Марсовом Поле, на алтаре отечества, в воскресенье, 17 июля... Но, с одной стороны, Лафайет и Байльи, с другой Ламеты и Барнавы, одинаково желали, чтобы сторонники петиции были напуганы; быть может, в их планы входило также погубить их вождей. Они подготовливали введение чрезвычайных военных судов. Но Ламеты, враги Лафайета, не желали допустить, чтобы успех этого дня достался на долю Лафайета и его белой лошади. Молва говорит, что они принесли в жертву своему плану

двух несчастных людей. С помощью своих агентов они подучили двух безумных, которые в воскресенье утром отправились и спрятались под алтарем отечества. Этоказалось бесцельным. Эти люди принимали так мало предосторожностей, что говорили полным голосом. Они сто раз могли быть открыты рядовыми гражданами, и дело могло кончиться тем, что они были бы прогнаны с их поста. Но те, что их посадили, хотели, чтобы они погибли с шумом и оглаской. Они подослали своих приверженцев. Эти возбудили народ, или, лучше сказать, его отбросы, раньше даже, чем все увидели двух спрятанных людей. Они указали на них, как на осквернителей алтаря отечества. Их окружили, собралась толпа; на них смотрят, их слушают, ибо те отнюдь не прячутся. Их вытаскивают, наконец, из-под алтаря и идут вешать в Гро Кайлью... Какой шум! Партия Лафайета, только и умевшая что следовать за злом, не предупреждая его, радуется этому событию.

„Нам будет легче ввести военные суды!“

Ламеты и Барнавы, думавшие отвлечь народ от мысли подать петицию на алтаре отечества, не знали, что имеют дело с ослепленными упрямцами. Поэтому, вместо того, чтобы избожать торжества белой лошади и ее всадника, они, наоборот, его подготовили.

К вечеру появляются члены клуба. Народ, думавший, что дело расстроилось, мирно пришел посмотреть на то место, где происходило волнение; место, которое на одной и той же неделе было свидетелем торжества годовщины Федерации и буйного повешения двух человек. Прибыли члены клуба. Ни малейшего возмущения. Они устроились на алтаре, как писцы за contadorкой. Заставляют подписывать членов, так как народ не подписывает. В эту минуту появляется ничтожный муниципалитет, движимый белою лошадью, жаждавшей отличиться, в сопровождении отряда национальной гвардии, преданной в то время Лафайету или его лошади. Читают возвзвание, которого никто не слышит. Ни один человек не двигается с места. Полосотни парижмахерских подмастерьев, уживавших в кабачках Гро Кайлью, слышат речи о том, что народ собрался, чтобы почешать подписывать петицию, которой никто не знает; они бросают каменья в гвардию, которая их распугивает, и они убегают. Несколько пьяных обывателей подражают им в нападении и бегстве. Раздаются выстрелы, убивают... женщин, детей... нескольких чирных горожан, не знающих,

куда бежать, и пришедших сюда только затем, чтобы подышать воздухом... Как Лафайет, Байльи и муниципалитет того времени—не поняли, что они обрушились на неповинных? О, Лафайет, как тяжко ты виновен! А ты, Байльи, как ты был слаб! О, каким болваном оказался ты, муниципалитет! Я с негодованием смотрел на эти следствия интриг и духа партийности; но негодование мое не переносилось, подобно негодованию народа, на национальную гвардию. Народ походит на собаку, кусающую палку, вместо того, чтобы кусать руку, ее направляющую. Я пошел домой, как только все начало затихать, и был счастлив тем, что спас жизнь несчастному национальному гвардейцу, близ лавки торговца чулками в Пале-Рояль. Группа торговок яблоками и селедочниц окружила его и душила. Озорник лет шестнадцати собирался пырнуть его ножом, который ему одолжила торговка требухой. Я схватил его за руку и отнял у него нож, которым разогнал женщин, и гвардеец убежал. За ним не было другой вины, как только то, что его называли „vasильком“ (прозвище, данное Лафайету). Что касается меня, то моя старая шляпа, мои подбитые железом башмаки выручили меня. Я зашвырнул в отдушину нож торговки требухой, которая уже кричала, что мне следовало бы распороть живот, а сам скользнул за группу вновь подошедших людей, вмешался в нее и бросился бежать в сад Равенства (Пале-Рояль)...

XIII.

Политическое положение около 26—27 сентября 1791 г.

Пересмотр Конституции состоялся; он—всецело в пользу Людовика. Последний появляется снова на престоле, окруженный новою славой. Мария-Антуанетта вкушает легкое радостное волнение. Меж тем ее озлобленное сердце неспокойно. Она ненавидит Ламета; ненавидит Барнава, на коленях которого дочь королевы возвращалась из Варенн; Лафайету,—к которому она относится с отвращением, подобным тому, что вызывают дурные запахи,—обязана она всеми преимуществами, на ее взгляд, однако, недостаточными..

Несомненно, что Людовик XVI, если бы он был осторожен, удовлетворился бы теми огромными выгодами, которые предоставлял ему предательский, хотя для того време-

нена, быть может, и мудрый пересмотр нашей Конституции. Ибо целью ее было избежать войны. Людовик должен был осторожно и мудро пользоваться своим *veto*, особенно в тех случаях, когда декрет был желателен народу. К несчастью, неосторожные советчики, горячие или недобрые умы сбили его с пути и заставили сбить его с дороги и Марию-Антуанетту, верившую в то, чего ей хотелось... Но, повторяю, почему же глупость своими мохнатыми пальцами ослепила бывшее высшее дворянство? Неужели оно могло существовать, лишь будучи руководимо крепкими головами третьего сословия?—Ибо царствовало давно уже третье сословие... И весь класс торговцев, портных, парикмахеров, книгородавцев, и особенно издателей, словом, все, кто имел дело с богатыми, и только с ними одними,—все стали теперь аристократами, по крайней мере, показывали куклы в кармане. И если бы не недоверие, которое все питали к непостоянному Мосье (графу Проправственному д'Аргу, к беспечному Калонну, к бешеному Буйлье, к распутному Баллону, к королю Прусскому, к императору, и ко всем иностранцам,—вы уже видели бы, как эти люди бросились бы навстречу контр-революции. Но они рассуждают, они не увлекаются, как дворянство, они размышляют и никогда не рискуют всем, если только не уверены в выигрыше. „Что дадут нам иностранцы?..“ Они видят их жестокое, неразумное поведение, и остаются на стороне Революции, вполне сочувствовать которой также не могут...

Когда пересмотр Конституции был закончен, Учредительное Собрание было накануне распуска, а члены нового законодательного собрания прибывали в Париж,—во всех колесиках политического механизма ощущалась некоторая минутная остановка. Вот эту-то минуту и выбрала идиотская аристократия, чтобы дать Людовику возможность выехать из королевства. Все было подготовлено. Они должны были помочь его нерешительности некоторою дозою насилия. Национальная гвардия была отобрана, посты доверены дворянам. Королева не была осведомлена; она должна была ехать, не будучи предупреждена, со своим семейством, в другой карете. Одному королевскому камердинеру по необходимости доверили тайну. Он не знает, что думать. Просыпаясь верного эмиссара предупредить Лафайета. Командующий является и расстраивает заговор. Он уже перестал быть того мнения, что Людовик должен уехать. Сам Людовик, наверху своей нерешительности, отказался

в эту минуту подвергнулся этой новой попытке и даже сурово говорил с ее инициаторами... Говорят, что Калонн и Буйлье были в числе последних, и что этот отказ очень охладил их. Здесь я не был очевидцем, я был в эту минуту занят другим.

Направляясь к Тюильери, я пошел по улице Сент-Андре (ныне часть ул. Отфель), вместо того, чтобы идти по набережной Валле, Нового Моста и кафе Робер-Манури. На углу улицы Эперон я увидел женщину в капоре, которая торопила молоденькую девушку лет одиннадцати или двенадцати. Девочка немного упиралась, что заставило меня подойти поближе.

— Нет! — говорила она, — я не хочу! Вы каждый вечер водите меня к моей тетке Жорж, закрывая мне лицо, в то время, как маленькая Жиго сидит у нас, разодетая, и берет у меня все, вплоть до моего имени.

— Молчи, дитя! Ты знаешь, тетя твоя сказала, что я делаю это для твоего же блага. Ах, если бы ты только знала, для чего я тебя увозжу! Бедное дитя!.. Когда-нибудь ты это узнаешь!..

Женщина и девочка продолжали путь молча, и вошли в один из домов улицы Баттуар (смежной с ул. Серпант).

XIV.

Две ночи в саду Тюильери (25—26 сентября 1791 и 19—20 июня 1792).

Я отправился в Тюильери через Королевский мост. С помощью железок, служащих мне для вырезывания моих надписей на перилах острова Сен-Луи, мне несколько раз случалось вскарабкиваться и проникать в этот сад уже после того, как он был заперт. Я выбрал место на террасе над рекой, где не было часового, и пробрался без препятствий. Я увидел людей и спустился под деревья, не будучи замечены. Здесь было всего больше людей, разбившихся на отдельные группы, и сидевших на стульях, в наиболее темных местах. Я не смел ни остановиться, ни подойти слишком близко. Но, наконец, став позади толстого дерева, довольно близко расположенного к одной из наиболее многолюдных групп, в которой к тому же говорили не слишком тихо, я узнал, что разговор идет о государственных делах.

— Весьма опасно, — сказал мужчина, — призывать во Францию иностранцев. Посмотрите, с какою радостью они приняли первое приглашение!

— Но, герцог, — не без извращенности заметила одна из женщин, — что же будет с нами?

— Надо рискнуть всем, всем пожертвовать, — произнесла другая женщина, помоложе, — чтобы мы снова могли быть восстановлены в наших правах...

— Осторожнее! осторожнее! — сказал второй мужчина. — Его величеству уже многое вернули, придет и наш черед...

В эту минуту с места поднялся толстый человек и подошел помочиться у моего дерева. К счастью для меня, какая-то женщина сказала ему:

— Вы отошли чересчур далеко.

Он обернулся и ответил:

— Вам угодно, чтобы я остался у вас под носом?

Во время этого ответа, вызвавшего возражение, передавать которое бесполезно, я отошел подальше.

Места вокруг этой группы я считал хотя и интересными, но опасными. Я ушел вглубь, в уединенную часть сада. Там я застал высокую прекрасную молодую женщину, которая шла, нежно склонясь в объятиях мужчины, поддерживающего ее за талию.

— Я должна бы пойти туда, — говорила она; — там беседуют о важных делах, но вы заставили меня забыть всю вселенную.. А меж тем, разве сейчас время любить? Быть может, накануне отъезда.. накануне кровопролитной войны?..

— Человек знает, когда он выходит из дома, моя дорогая, — отвечал мужчина, — но не знает, когда возвращается.. Если вы уедете, я последую за вами на край света; но без вас.. никогда!..

И он поцеловал ее...

Я понял, что эмигрировать мужчин заставляли женщины, и что они же с наибольшим нетерпением переносили Революцию.

* * *

Долгое время протекло без всяких значительных событий. Два декрета, изданные законодательным собранием и навлекшие на себя чутко со стороны Людовика, возбуждали сильное брожение, с ноября месяца; то были декреты против неподчинившихся священников (29 ноября 1791) и против эмигрантов (9 ноября 1791). Мошенник Дюпор дю Тертр, вознесенный из пыли своего чердака на высокий пост ми-

нистра юстиции, поступал против своего долга и обманывал всех... За это он был наказан..

19 июня 1792, вечером, я вышел из дома около девяти часов и пошел по дороге, по которой не ходил с 26 сентября прошлого года. Я направился по улице Сент-Андре-д-Арк и улице Мазарини. По пути я видел многочисленные и частые патрули, цель и значение коих мне были неизвестны. Но вскоре я узнал, что предместья Сент-Антуан и Сен-Марсо на другой день должны были подать Собранию и даже самому королю петицию о снятии двойного *veto*. Петиция не есть насилие, подумал я, и успокоился. Я пошел не по набережным, а по Новому мосту. Вошел в кафе Робер-Манури, где услыхал некоторые подробности вооруженной петиции, предполагавшейся на следующий день.

— Вооруженное! — сказал мужчина.— Запрещено декретом подавать петиции с оружием в руках!

Какая-то бесшабашная голова отвечала:

— Это—чтобы сделать ее более действительной

Я вышел и направился к Тюильери. Все показалось мне там спокойным. Я проник туда тем же способом, как про никал в прошлую осень. Но я не застал там прежнего общества. Несколько человек, одетых в черное, прогуливались одиноко или попарно. Я не мог ничего услышать. Я также стал прогуливаться...

* * *

Не помню, сказал ли я, каким способом я выбрался из сада в ночь с 25 на 26 сентября? То было с помощью шеста, найденного мной на террасе; я спустил его наружу и соскользнул по нем. На этот раз мне пришлось выйти иным манером. Не найдя шеста, я стал искать другого способа выбраться и приблизился к дверям замка, против широкой аллеи. Из двери вышла женщина, которая, зайдя меня в этом месте, схватила меня за руку и сказала:

— Хорошо! хорошо! очень хорошо! Сам чорт ее узнал бы вас.

Она повела меня, заставила пройти под портиками и покинула меня во дворе. Я не знал, надо ли ее дожидаться. Однако, я решил этот вопрос положительно. Она появилась минуту спустя и положила мне на руки новорожденного младенца:

— Уходите скорее, скорее! а то он раскричится!

Я только что собирался спросить „Куда?“, как вдруг мужчина, также в плаще, появляется около меня, берет у

меня ребенка и исчезает. Я быстро удалился, почуяв опасность. Я видел, тем не менее, что мужчина вышел через Манежный двор, и что женщина смотрела мне вслед, но не произнесла ни слова.

Я вернулся домой по улице Эшель.

XV.

„День санкюловов“ (20-ое июня 1792).

На следующий день я проснулся в тревоге, которую вызывала во мне вооруженная петиция предместий. Я бросил занятия (как я часто бываю и принужден делать во время Революции) и отправился в Тюильери. Многолюдная депутатия, в качестве трофея, несла старые изорванные штаны. Тащили пушки. Здесь я спросил себя, не готовятся ли они начать осаду. У меня есть привычка в известных обстоятельствах думать вслух. Какой-то человек мне ответил:

— Нет, но это для того, чтобы отнять у „владельца замка“ (Людовик XVI) охоту запереть от нас двери и поднять подъемные мосты...

Всплыли беспрепятственно, и депутатия попросила аудиенции у законодательного собрания. Последнее не разрешило вооруженной силе войти в свое помещение; оно допустило только обезоруженную депутатию, которая его уверила, что она явилась с целью мирно сообщить монарху истинное желание народа по поводу его двойного *veto* (*veto*, наложенные на декреты от 9 и 29 ноября, касательно эмигрантов и ослушных священников).

— Если, ознакомясь с ним, он под ним не подпишется.— прибавили они,—то ничего другого не останется, как заговорить другим департаментам, в свою очередь.

Вооруженную депутатию не одобряли и не порицали; без сомнения, законодательное собрание побоялось скомпрометировать верховную власть... Наконец, настала минута войти к королю, и нестройная толпа поднялась в королевские апартаменты. Холопы и разбойники высадили ударами топора дверь. Людовик появился, без малейшего испуга, без волнения. Спросил, чего от него хотят. Оратор из депутатии взял слово, чтобы попросить снятия двойного *veto*. В эту минуту здесь оправдывалась поговорка *Vox rori i vox dei*. Людовик мог, несколько не компрометируя себя, снять запрещение обоих декретов; ибо они, к несчастью,

были правильны, если не по праву, то по обстоятельствам: не прошло и года, как последующие события доказали это. Он пообещал рассмотреть, дать удовлетворение... Я все хорошо видел, но слышно было плохо. В то время писали, что короля оскорбили, подвергли насмешкам; но грубые люди, вовсе не желая его оскорбить, обходились с ним до такой степени фамильярно, что предложили ему надеть красную шапку, в то время именуемую попросту якобинской шапкой. Они пошли еще дальше (и в этом я вижу большую сердечность, чем это принято видеть),—они попросили его выпить с ними стакан вина. Людовик исполнил это весело и со смехом, и я любовался им... Такова была сцена. По отношению к главе исполнительной власти не было допущено ничего предосудительного, не было произнесено ничего оскорбительного по адресу его семьи, и все ушли около шести часов, пробыв в королевских комнатах около трех часов.

Я никогда не одобряя формы этой делегации; она была беззаконна, безрассудна, со всех точек зрения; но, вличной форме, она являла пример законных отношений народа к монарху. Я всегда восхищался мудростью Законодательного Собрания, которое, подобно искусному врачу, не желало излечивать чересчур быстро.

Итак, вот какова была та сцена, которая для всей Европы была изображена, как самая соблазнительная из всех, когда-либо виденных!. Видя, что все газеты аристократов шумят по поводу этого минимого скандала, я остался при моем мнении. Руайу, Дюрозуа, Фонтенэ и дворяне создали этот скандал гадним числом, и вызвали этим ужасную катастрофу... Я вернулся вечером домой, почти довольный. Но как бы я огорчен, если бы знал, к чему приведет этот день!.. Я никогда не имел отношений к королевскому двору, к чиновникам, ко всем тем, что каким бы то ни было способом управляют; жить и трудиться в уединении—было моим постоянным и единственным желанием. Если я наблюдал, то для того только, чтобы проникнуть в сердце человеческое и собрать все то множество фактов, которые рассыпаны в моих произведениях... За пятнадцать лет я поддерживал работой трипнадцать лет я отцов семейств, граверов, рисовальщиков, печатников, переплетчиков, не считая издателей. Я получал деньги за мои произведения даже из России. Они переводились в Англии и в Германии. Вот мое право на существование перед лицом современников и перед потомством. Я никогда не просил милостыни, как Д...

Я умею мужественно быть бедным, подтачиваемый тем разочарением, и потрясениями, которые внесла в литературу Революция. Я болен, и, тем не менее, я работаю. Я не пишу в газетах, так как нахожу, что все сказано, что я мог бы сказать. Я работаю по примеру старых литераторов; я до сих пор продолжаю наблюдать, и смерть,—близость которой я чувствую, несколько не пугает меня. Все, что со мною ни случается: бедность, несчастья, семейные горести,—имеет одно преимущество: это помогает умирать.

XVI

10 августа 1792.—Осада Тюильери.—Король ищет убежища в стенах Национального Собрания.

Мы дожили, наконец, до той памятной и ужасной ночи, которая подготовлена друг другу двумя противоположными партиями. За ночью последовал еще более памятный день.

„Ограда снисхождения“.—С 20 июня, Тюильери был заперт, и народ не имел более права прогуливаться там. Сначала это лишение вызывало нетерпение. Несколько времени спустя, кое-кто из членов Законодательного Собрания предложил ему издать декрет о том, что ограда, окрестность и аллеи Национального Собрания находятся в ведении полиции. Согласно этого декрета, терраса Фейльян была открыта, и по ней можно было гулять; но публике предлагалось не спускаться в сад. никто туда и не спускался, и публика сама стояла на страже легкой преграды, ею самой поставленной. Эта ограда была „снисхождением“! Один старик, с умыслом или по рассеянности, спустился в сад. Ему было тихо замечено, что он эмигрирует и отправляется в Кобленц. Он вернулся. В другой раз какая-то франтиха, которую заподозрили в том, что она действует нарочно, также спустилась в сад; ее освистали. Она хотела вернуться обратно. Ей не дали подняться на террасу. Она принуждена была идти просить швейцарцев выпустить ее с другой стороны. Это не все еще. Вскоре „снисхождение“ покрылось сплошь небольшими бумажками, на которых были написаны самые жестокие насмешки против королей, против *veto*, против королевского двора и его фаворитов...

В глубине сада, однако, виднелись люди, гулявшие по аллеям; но то были придворные слуги.

Я смотрел на все это и говорил себе: „Готовится ужаснейший взрыв! Но как он разразится?“.

Сегодня, однако, 10 августа 1792.

Выходя из дома, я ровно ничего не знал. Трудящийся и мирный человек живет в полной тиши.

Мне попадались по дороге, как и в вечер 20 июня, многочисленные патрули. „Что-то готовится“, — подумал я, — „но что именно?“ Я пошел осведомиться. Направился я по набережной Валле (ныне набережная Гранд-Огюстен); зашел к известному издателю, гражданину Мериго-младшему. Там я узнал, что опасаются за ночь; раскрыты заговоры; часть национальной гвардии стоит за короля; марсельцы, только что прибывшие в Париж, настроены против, и т. д. Я слушаю подобно овце, взирающей на бой собак с волками.

Ухожу, чтобы отправиться в кафе Манури; но иду по улице Савуа, движимый религиозным чувством к памяти моей дочери Зефиры, которая в подобный день отдала высшему существу свою чувствительную и непорочную душу. Преклонив колена, я пошел дальше...

Я пошел домой в час. Я избежал патрулей, которые мечтая непременно арестовали бы; я прибыл домой в два часа, и тут я услыхал звуки набата. Будь я помоложе, я избежал бы узнать, в чем дело; но я был слишком утомлен...

На другой день я был рано разбужен грохотом артиллерийской пальбы. Я слышал, как на улице рассказывали, что происходит. Тогда я встал и побежал... Прибыв к Королевскому мосту, я застаю там перестрелку. Я осведомляюсь. Получаю отрывки белесных сведений. Наконец, узнаю, что королевский двор, прослышиав о новой депутатии предместий, занял оборонительное положение; что он созвал во дворец дворян, в просторечии именуемых кавалерами кинжала, и всех тех, на кого он мог положиться, что он рассчитывал на часть национальной гвардии, главный штаб которой стоял за него; на швейцарцев, которыми он окружил себя... Я узнал, что в то время, как двор заставлял быть в набат в Сен-Роке, чтобы собрать своих приверженцев, марсельцы были в набат в Сен-Сюльписе, чтобы сорвать патриотов; я узнал, что предместье Сен-Марсо захватило марсельцев у Кордельеров, что батальон Генриха IV павел пушки на последних, и что его командир, Карль, только что был убит... Я видел убитых швейцарцев... видел национальную гвардию, собранную воедино... Я терял голову! Я не понимал, каким образом накануне такого взрыва я мог видеть столько спокойных людей!.. Я осведомляюсь о королевском дворе. Людовик, вместе со своим семейством,

укрылся в зале Национального Собрания еще до первого ружейного выстрела... Иду дальше, вижу груды наваленных ружейных стволов... Прохожу по Луврской набережной. Вижу, как стреляют из окон с галлерей. Я жмусь к стенам, а одна женщина, не принявшая этой предосторожности, убита в двадцати шагах от меня. Я видел, как упал молодец из мясной лавки в проходе Сен-Жермен-Л'Оксерруа, в двухстах шагах от колоннады Лувра, откуда стреляли... Вот гнусные подвиги, в которых кавалеры кинжала чересчур повинны... Ах, к чему эти ничтожные и бесполезные люди притязали на уничтожение народного класса? Это было бы безумием и несчастием для них самих... Теперь бросим беспристрастный взгляд на безумие этого поведения. Кто подал королевскому двору мысль избегнуть депутатии предместий крайними мерами, к которым он прибег? Люди, лишенные всякого опыта, не знавшие ни истинных намерений, ни сил наряда. Можно подумать, что в своем поведении королевский двор следовал советам исключительно сумасбродных детей, женщин и обавившихся мужчин, еще менее благоразумных, чем женщины. Ни что не могло его исправить, ни чему он не научился...

О, мои сограждане! Одна вещь является источником ваших бедствий; это — неуверенность тех, кто боится последствий революции. Эта неуверенность заставляет их действовать порывами, следуя ходу событий: они замедляют движение, когда видят, что оно развертывается легко и быстро; когда революционеры раздражаются и грозят им, то они сами подталкивают колеса, чтобы впоследствии снова задержать колесницу свободы. Таким путем они вечно придерживают колесницу свободы. Таким путем они вечно причиняют зло. Я утверждаю, что как бы ни было плохо решение, которое принимает нация, надо, чтобы все ее члены тянули в одну сторону. Ослушники достойны смерти, ибо они причиняют величайшее зло: раскол. Спрашивают, было ли дворянство злом? Не знаю; я не настолько опытен, чтобы решить это; но я говорю, что оно раскололо народ на две части, которые сейчас, 1-го апреля 1793 г., окончательно дерутся в наших приморских департаментах.

Людовик провел два дня и одну ночь в комнате стенографа и в соседнем с нею помещении. Затем его перевели в замок Тампль. Конвент заменит собою Законодательное Собрание. Революционный трибунал рубит преступные головы, будь то за преступление раскола, всегда тяжкое. Дела отягчаются и достигнут той точки, которую могут предвидеть только немногие из главарей.

Вслед за революцией 10 августа, Законодательное Собрание заявило, что оно считает себя недостаточным для ведения общественных дел, и что, пользуясь своим правом, оно издаст декрет о созывании Национального Конвента. Тотчас же образовались первые избирательные собрания. Все заволновалось. Были избраны выборщики. Затем новое волнение,—для избрания депутатов. Париж избрал своих депутатов. Я стою слишком близко к ним, чтобы судить их. Как знать, хорош или плох представитель народа, прежде чем истечет срок его представительства?.. Кто судит слишком спешно, тот клевещет, я же не желал бы оклеветать никого, даже Марата.

Тем временем происходили другие события. Повсюду уничтожали королевские статуи; даже Генрих IV, столь долго обожаемый, подвергся участии Людовика XIII, Людовика XIV и Людовика XV. Все было опрокинуто. Волнение было громадное, но, однако, оно было таково, что человек, не желавший его замечать, не видел его. Этим я хочу сказать, что изображение Парижа в эту эпоху среди иностранных народов и даже в провинции было сильно преувеличено!.. Зато за пределами Франции мы терпели превратности: Лонгви был отдан пруссакам (23 августа 1792 г.), которые вскоре овладели и Верденом (2 сентября). Я предупреждаю события. Дела изменились. Зараза проникла в прусские войска, и Дюмурье мог бы истребить их! Он этого не сделал. Было ли то из человеческого? Нет, существо безнравственное, каков был Дюмурье, не знает гуманности! Изменник в то время уже начинал свои предательства!.. Пруссаки отступили. Мы вошли в Верден (13 октября), в Лонгви (21 октября), но без славы; нам их отдавали; наши полководцы не отвоевывали их обратно. Так, впоследствии, низкий Дюмурье отдал Бельгию.

XVII.

Ночные обыски (28—29 августа 1792 г.).

Тайное чутье руководило комиссарами секций Коммуны. Они знали, что при том недостатке оружия, который ощущался, следовало собрать все оружие, лежавшее бесполезно у граждан, остававшихся в Париже. Мы были предупреждены, что к нам явятся ночью на квартиры, и мы ожидали суровых обысков. Так как я знал, что до меня оче-

редь не дойдет ранее двух часов по полуночи, то я вышел из дома вечером, невзирая на предупреждение, что на улицах арестовывают...

Я дошел до улицы Лагарп, не встретив ничего особенного. Огибая площадь, занятую извозчиками, я увидел, как из одной кареты вышли, словно два громадных черных узла, двое людей в женских платьях. Они спустились не сколькими шагами ниже и, оглянувшись на кучера, чтобы убедиться, что он не наблюдает за ними, вошли в дверь, оставленную незапертую, которую они за собою заперли. Я глядел на это видение, как вдруг мне пришла в голову мысль пойти и спросить у извозчика, откуда он привез этих замаскированных.

— По чести,—сказал он,—я знаю и не знаю. Они, насколько я видел, вышли из другой извозчичьей кареты, и, не пройдя двадцати шагов, сели в мою карету.

Я покинул кучера, правдивого или скромного, и вернулся к двери, которая вслед за тем распахнулась. Из нее вышли два молодых человека, и направились вниз по улице Лагарп, до площади Сорбонны; я остановился в стороне, чтобы посмотреть, что будет дальше. Им отперли, и они исчезли. Я направился к улице Сен-Жак, по улице Масон (ныне улица Шамплион). Я шел медленно. Часовой не сказал ни слова. Едва я очутился на углу, как вдруг услыхал шум и остановился. Даже отступил на несколько шагов. То были двое молодых людей, которых гвардеец, кликнутый часовым, арестовал. Их отвели в Центральный Комитет, который отоспал их в тюрьму Карм. То были, по слухам, непокорные аббаты. Они не знали, что их отправляют в тюрьму, откуда им уже не выйти.. Было поздно. Но я не заснул бы дома, ожидалочных посетителей. Однако, я вернулся и занялся просмотром корректурных листов.

Ровно в два часа я услышал, что к соседям входят. Я отпер свою дверь. Ко мне вошли. У меня не было никакого оружия, ни даже шпаги, потерянной моим племянником. Записали мое имя, фамилию, возраст. Спросили, кто живет со мною. Я ответил на все вопросы. Все ушли.

Сон был далек от моих вежд. Я вышел из дома, с намерением пройти сколько возможно, не будучи арестованым. Я свободно обошел весь наш квартал. Я видел, как проехала карета с непокорными священниками, во всевозможных костюмах, в светском платье, в женских одеждах и даже в мундирах. Но особенно поразила меня одна тор

говка рыбой, одетая с необыкновенным правдоподобием, которая была, как мне сказали, каноником из Нотр-Дам. Его пынная физиономия была столь правдоподобна при этом переодевании, что я недоумевал, как могли узнать его.

Я прошел за каретой до улицы Паршеминери... В этом не было ничего трагического; но смеяться над этим было бы бесчеловечно, особенно, если знать, какою ужасною катастрофой все это должно было через несколько дней завершиться!

Одан священник в тюрьме Карм жаловался Пьеру Манюэлю, прокурору Коммуны, что он нуждается кое-в-чем из вещей.

— Постерните, это не продлится дольше воскресенья или понедельника,— отвечал ему Пьер.

По всей вероятности, Пьеру это было известно.

XVIII.

Сентябрьские избиения (1792).

10 августа обновило и закончило Революцию. 2, 3, 4, и 5 сентября набросили на нее мрачный ужас. Жестокие события надо описывать беспристрастно, и писатель должен быть холoden, заставляя дрожать читателя. Ни одна страсть не должна волновать его; иначе он становится высокопарным деламатором, вместо того, чтобы быть историком.

В воскресенье (2 сентября 1792) я вышел из дома часов в шесть или семь, не зная, по обыкновению, что происходит. Я отправился на мой остров, на столь любимый мною остров Сен-Луи, с которого низкий человек (зять Оже) изгнал меня с помощью детей самого темного населения!... В этом мирном месте, до которого я добрался незамеченным, я не слышу ничего, кроме того, что одна служанка говорит другой, из окна:

— Катерина, мне сдается, что бьют в набат! Разве что еще готовится?

Катерина отвечала:

— Бойсь, что таё; хозяин приказал все запирать.

Я удалился, не подав виду, что я слышал. Я не сделал полного круга. Я направился по мосту Мари и Порт-о-Бле. Там происходили танцы. Я успокоился. Дойди до ресторана со ступенями, которым заканчивается мост, я увидел, что и там танцуют, но в ту же минуту один из прохожих восхлинул:

— Прекратите танцы! В других местах уже танцуют иным манером!

Танцы прекратились. Я продолжал мой путь с тяжелым сердцем. Не зная, в чем дело, я направился по набережной Ле-Шелльетье, Жевр, Межисери и добрался до кафе Робер.

Там у меня был знакомый, маленький человечек, швейцарец по происхождению, но родившийся в Париже, всегда знавший все новости своего квартала, принадлежавшего к секции Театр-Франс.

— Убивают в тюрьмах заключенных,— сказал он мне.— Это началось с нашего квартала, в тюрьме Аббей. Говорят, что причиной тому вчерашний человек, выставленный у поозорного столба на Грэвской площади, который кричал, что плюют на народ, и другие ругательства. Прохожие вззволновались. Его отвели в ратушу, где его присудили к повешению. Он сказал перед смертью, что во всех тюрьмах думают так же, как и он, и что скоро все увидят крупные события; что все заключенные вооружены, и что их выпустят, как только уйдут добровольцы... Вследствие этого сегодня перед тюрьмами собрались толпы народа, выломали двери и убивают заключенных...

Я выслушал маленького Френьеира с волнением, с ужасом. Между тем, образ, который он нарисовал, был еще далек от истины... Прочитав газеты, я спросил, пойдет ли он домой, так как я был испуган.

— Охотно,— сказал он,— но сначала дойдем до тюрьмы Аббей, а потом я провожу вас до дома.

Мы отправились. Всеказалось оцепеневшим в блестящей улице Дофин, еще носявшей это название. Мы беспрепятственно добрались до ворот тюрьмы. Там полукругом стояла толпа зрителей. Убийцы стояли у ворот, как во дворе, так и перед тюрьмой. Судьи сидели в комнате тюремного сторожа. К ним приводили заключенных. У подсудимых спрашивали имя. Старались отдать их под стражу.

Род предъявленного обвинения решал их участь. Один очевидец передавал мне, что внутри тюрьмы убийцы нередко участвовали в решении суда, вместе с судьями. К ним привели высокого человека, с холодным и суровым лицом. Его обвиняли в злонамеренности и в аристократическом происхождении. Его спросили, признает ли он себя виновным.

— Нет, я неповинен, мои чувства только заподозриваются, и за три месяца, что я сижу в заключении, против меня ничего не нашли.

При этих словах судьи склонились было к милосердию, но вдруг какой-то голос, на провансальском наречии, всхлинул:

— Аристократ! В тюрьму Форс! В Форс его!

— В Форс, так в Форс,—отвечал человек,—я не стану преступнее от того, что переменю место заключения.

Несчастный не знал, что слова: „В тюрьму Форс!“, произнесенные в Аббey, служили смертным приговором, равно как и крики: „В Аббey!“, в других тюрьмах, посыпали осужденного на виселицу...

Вытолкал его во двор тот человек, что кричал, и он прошел в роковую калитку. Первый удар сабли изумил его, но затем он опустил обе руки и дал себя убить, не сделав ни одного движения.

Можете судить, чтосталось со мною, который никогда не мог видеть крови, когда я увидел, что любопытный Френеर тащил меня под самые сабли! Я задрожал. Я почувствовал, что слабею, и бросился в сторону. Раздирающий крик одного заключенного, более чувствительного к смерти, нежели остальные, пробудил во мне спасительное негодование, которое мне дало ноги, чтобы бежать... Остального я не видел.

В это время начались убийства в Шатле. Отправились в Форс. Но я не пошел. Мне хотелось бежать от этих ужасов, и я вернулся домой... Я лег... Тревожный сон, волнуемый яростью бойни, дал мне только мучительный отдых, часто прерываемый внезапными пробуждениями в испуге; но это еще не все: около двух часов ночи под моими окнами проходила толпа головорезов, из коих ни у одного не было парижского произношения—все были инородцы. Они пели, выли, рычали. Среди этого шума я рассыпал:

— Пойдемте к бернардинцам!

— Пойдемте в Сен-Фирмен!

Сен-Фирмен был домом, где сидели арестованные священники; в первом месте находились осужденные на галеры.

Некоторые голоса кричали: „Да здравствует народ!“ Один человек, которого мое хотелось бы увидеть, чтобы прочесть его омерзительную душу на его гнусном лице, кричал, как безумный:

— Да здравствует смерть!

Это мне не передавали, это я сам слышал, и меня охватила дрожь.

Они отправились убивать каторжников и священников Сен-Фирмена. Среди последних находился аббат Гро (Жо-

зef-Мари), бывший член Конституанты, некогда бывший моим священником в приходе Сен-Николя-дю-Шардонне, у которого я однажды ужинал с двумя дамами из Оксера. В тот вечер он еще упрекнул меня за то, что я в „Жизни моего отца“ сказал что-то неодобрительное о безбрачии духовенства. Аббат Гро среди убийц увидел человека, с которым он имел какие-то отношения.

— Эй, друг мой! и вы здесь? Зачем вы пришли сюда в столь поздний час?

— О,—сказал человек,—мы пришли сюда за недобрым делом... Ко мне вы отнеслись хорошо... Но почему же вы отказались от присяги?

Человек повернулся к аббату спиной, как некогда поворачивались к своим жертвам короли и Ришелье, и подал, зная товарищам. Аббата Гро не закололи; для него избрали более легкую смерть; он был выброшен из окна... и размозжен; он не страдал...

Я не буду говорить об осужденных на каторгу. Эти несчастные видели прекращение той жизни, которую они даже не дорожили...

Но еще раньше, вечером, в Карм-Люксембурге произошла другая сцена, которой я не был свидетелем и о которой в эту минуту не знал. Там за последние дни были собраны все непокорные священники, арестованные либо у застав, либо ночью, во время обысков. Епископ Арльский отправился туда добровольно утешать и поддерживать своих братьев. Да не подумает, однако, читатель, что, приводя этот самоотверженный поступок, я становлюсь на защиту фанатического духовенства! Эти люди—мои злейшие враги! Существа, в моих глазах, самые презренные! Нет! нет! я их не жалею! Они принесли черезсур много вреда нашей родине: вначале своим распутным поведением, которое разнудило весь народ, а впоследствии своими происками. В стремлениях общества нет ни абсолютного добра, ни абсолютного зла; когда общество, или большинство его, желает чего-либо достигнуть, то это желание правильно. Тот, кто этому противится, кто призывает на свой народ войну или мщение—изверг. Тот, кто хочет мстить за бога и религию, не более, как нечестивец, оскорбитель святыни, кощунственник и безумец, который притязает на защиту бога! Бог любит одно—порядок; порядок, который присущ ему самому в высшей мере; а порядок всегда лежит в согласной воле большинства; меньшинство, повторяю, всегда

неправо, хотя оно и будет право моралью. Надо обладать простым здравым смыслом, чтобы понять эту истину. Священники воображают, что вся суть в их культе: они опибаются; вся суть — в братской любви. Они же ее преступают, даже когда служат обедню. Все зло нашей жизни исходит от глупцов, от доктринеров, от двоедушных и от упрамцев... Вернемся, однако, к рассказу. Убийцы вошли в тюрьму Карм около пяти часов. Священники не подозревали ожидавшей их участии; некоторые из них заговорили с прибывшими, принимая их за конвой, который должен был куда-то сопровождать. Один из них, по всей вероятности подкупленный, предложил епископу Арльскому (Ж.-М. Дюло) спасти его. Но тот не пожелал его даже выслушать.

— Господин аббат, то, что я вам говорю, очень серьезно!

Другой убийца, не поняв, о чем идет речь, подошел, чтобы жестоко поиздеваться над своей жертвой, которую он схватил за волосы, дернул за ухо:

— Полноте, господин аббат, не представляйтесь ребенком!

Епископ, повидимому, был чересчур взволнован, ибо он отвечал:

— Что ты сказал, негодяй?

Я передаю это со слов очевидца.

Ответом на это послужил удар саблей, сваливший епископа с ног. Его добили. Другой священник также обозвал своих палачей негодяями. Он получил более двадцати ударов, сопровождавшихся словами: „Негодяй! негодяй! негодяй!..“ Два-три епископа бежали, благодаря попустительству некоторых убийц...

Нет, повторяю, я не плачу над участью священников, бесполезных и часто опасных членов общества, которое они обманывают. Они не были невинны. Но здесь больше того: эти священники виновны перед собственным религиозным уставом. Согласно евангелию, они не могут употреблять оружие, даже для защиты своей жизни или своих догматов. Наше духовенство возбуждало волнения, подстрекало к убийствам... Все это не оправдывает, разумеется, их убийц, которые, умертив их, низвергли все законы общественности.

Убийцы находились в Консьержери и в тюрьме Форс. Они убивали в этих тюрьмах, равно как и в тюрьме Шатлэ, всю ночь. В Консьержери погиб Монморен-де-Фонтенебло и, быть может, Монморен — министр (граф Арман-Марк де Монморен был убит 2-го сентября в тюрьме Аббей). В эту ужас-

ную ночь народ играл роль прежних великих мира и вельмож, которые, в молчании, под покровом ночи закалывали столько неповинных, а порою и виновных жертв. В эту ночь царил народ, и благодаря ужасному святотатству бунтарей, он превратился в деспота и тирана!

Передохнем немного. Нас ожидают еще подобные же сцены в тюрьме Форс, утром, 3-го сентября...

Я проснулся, словно в тумане от ужаса. За ночь я не отдохнул; меня была лихорадка. Выхожу... Прислушиваюсь, иду за людьми, шедшими взглянуть на „несчастия“, таково было их выражение. Проходя мимо Консьержери, я увидел убийцу, как мне сказали, марсельского матроса, у которого от утомления раздуло руки. Я прошел мимо. Перед фасадом Шатлэ трупы лежали грудами. Я бросился бежать... И, однако же, я снова пошел вслед за другими. Я попал на улицу Сент-Антуан, близ улицы Балле (пролегавшая через пустырь улицы Малер), в ту минуту, как один злополучный, видевший, как только что убивали его предшественника, вместо того, чтобы остановиться, в ужасе бросился бежать со всех ног, миновав решетку. Человек, сам не бывший убийцей, но представлявший собою бессознательную машину, которых вообще так много, преградил ему путь пикою. Несчастного схватили и убили. Копейщик сказал равнодушно, обращаясь к нам:

— А я не знал, что его хотят убить!

Это начало заставило меня повернуться, чтобы уйти, как вдруг другая сцена привлекла мое внимание. Я увидел, как вышли две женщины. Одна из них, с которой я познакомился позже, была привлекательная Сен-Брис, камеристка бывшего принца королевского дома, а другая — молодая девушка лет шестнадцати. Звали ее мадемузель де Турсель. Их повели в церковь Сент-Антуан. Я пошел вслед за ними. Я старался рассмотреть их лица, насколько то позволяли закрывавшие их вуали. Барышня плакала. Г-жа Сен-Брис успокаивала ее. Там им заперли. Я вернулся в улицу Баллэ. Тут я увидел двух женщин, сидевших в карете; кучеру сказали тихо: „В Сен-Шелажи!“ Не знаю, быть может, я ошибаюсь, но мне показалось, что приказ кучеру отдал Тальен, член муниципалитета.

Убийства приостановились. Что-то происходило внутри... Я было порадовался, что все кончилось. Вдруг я увидел женщину, бледную, как полотно, которую поддерживал помощник тюремщика. Ей сурово приказали:

— Кричи: „Да здравствует народ!

— Нет, нет! — воскликнула она.

Ее заставили взойти на груду трупов. Один из убийц схватил привратника и оттолкнул его:

— Ах! — вскричала несчастная, — не делайте ему ничего дурного!

Ей еще раз приказали кричать: „Да здравствует народ“! Она отказалась с презрением. Тогда один из убийц схватил ее и распорол ей живот. Она упала и была добита остальными... Никогда в жизни подобный ужас не представлялся моему воображению. Я хотел бежать, но ноги отказывались. Я потерял сознание... Когда я пришел в себя, я увидел окровавленную голову... Мне сказали, что ее собираются отмыть, завить, надеть на пике и пронести под окнами замка Тампль. Бесполезная жесткость! ее оттуда нельзя было видеть... Эта женщина была мадам де-Ламбаль... Возвращаясь домой, я имел удовлетворение видеть, что г-жу Сен-Брис вместе с м-ль де-Турзель вели домой, к родным. Они дрожали. Судьба Ангремон, Лапорт и Дюрозуа испугала всех, кто имел какое-либо отношение ко двору.

Убийства продолжались. Придя домой, я узнал от неизвестного человека, казавшегося правдивым, что все парижские воры сбежались с убийцами, с целью освободить своих заключенных товарищей. Они находились и внутри тюрьм, и во дворах, так что являлись хозяевами жизни и смерти. Иногда, когда воры попадались по нескольку человек подряд, и убийцы начинали скучать без дела, эти негодяи, без ведома судей, приносили в жертву невинного, и таким образом были убиты некоторые патриоты... Я пришел домой, изнемогая от боли и усталости, по всей вероятности, потому, что уже несколько ночей не спал...

Не забыл ли я чего из событий этой роковой ночи и этого дня, следовавшего за нею? Не знаю! Для меня через чур мучительно переноситься памятью к этим ужасным делам, совершившимся, однако, по чьему-то приказу; по чьему-то хладнокровному приказу, без ведома мэра Петиона и министра Ролана! Кто же их организовал?... Трусы спрятались, они не смеют показаться... Если они думают, что поступили хорошо, как намекают на то их тайные агенты, то пусть они явятся и представят свои доводы. Их заблуждение вызовет сожаление, и, быть может, им его разъяснят!..

Какова же истинная причина этой бойни? Некоторые полагают, что она, действительно, имела цель, чтобы добро-

вольцы, отиравшиеся на границы, не покинули своих жен и детей на произвол разбойников, которые могли быть освобождены из тюрем или оправданы судом, могли бежать, покровительствуемые злоказческими людьми, и т. д. Я хотел добраться до истины, и наконец нашел ее: хотели одного — освободиться от непокорных священников. Некоторые хотели даже отделаться от всего духовенства. Между тем, почувствовали, что фанатизм еще силен, и что подобное выступление против священников, наверное, вызовет возмущение. Высылка, далеко не достигая цели, превратит священников в эмигрантов, более опасных, чем если бы они оставались здесь. Что было делать? Уничтожить их. Если бы было возможно иным путем, чем убийство, их не убивали бы. Поэтому их убили, а чтобы замаскировать эту беззаконную казнь, инсценировали тюремный процесс... Что сказать об этом ужасном событии?.. Что сно ужасно! Но сегодня, 1 мая 1793 г., нас заставляет дрожать от ужаса то, что мы видим людей, которые находят, что это избиение было неизбежно... Один комиссар исполнительной власти говорил вчера: „Я видел в Нанте, как женщины давали деньги, — иногда взамен ассигнаций, а иногда и просто так,— священникам, которые были осуждены в ссылку. Они становились перед ними на колена и просили их благословения. И когда я сказал национальному гвардейцу:

— Зачем вы это допускаете?

Он ответил:

— Эх, что тут поделаешь? Довольно приказывать.

— Вы об этом погорюете“.

И они горюют. „Надо было, продолжает тот же человек, посадить их на корабль Агриппины и пустить в открытое море“...

XIX.

Продолжение убийств в Сальпетриере (3—4 сентября 1792).

Я заперся у себя дома на остальной день 3 сентября, думая, что убийства прекратились, за недостатком жертв. Но вечером я узнал, что ошибся; они были приостановлены всего на несколько минут. Я не верил рассказам о том, будто восемьдесят заключенных в тюрьме Форс ушли в подземелье, откуда стреляли в нападавших, и будто их собирались задушить, с помощью дыма от смоченной соломы,

положенной у входа. Я отправился туда. Убийства продолжались, но спасенных было больше, и мне показалось верным то, что говорилось о ворах, будто бы спасавших своих товарищей. Но был и обратный способ действия. Все фальшивомонетчики заставляли, наоборот, убивать своих товарищей, делая в то же время вид, что хотят их спасти... Убийства прекратились в Аббey, в Консьержери, в Шатле, где никого не осталось.

Вечером все направились в Бисетр. Там вывели „конурочников“ (тех, которые сидели взаперти в темных конуроках); по их судили менее правильно, чем в обычных тюрьмах. На них едва взглядывали; по двум причинам: надзиратель в тюрьме Бисетр, убитый раньше других, не мог дать списков заключенных, а затем вообще было известно, что то были поголовно отвратительные субъекты, которых Революция не могла освободить. Они были расстреляны во дворе. Заключенные в Форсे первого этажа, во дворе темных конурок, пробовали защищаться, вооружаясь; но они были уничтожены. Вот, что произошло в этой тюрьме, весьма некстати присоединенной к госпиталю.

Оставалось еще одно дело, которое особенно радовало негодяев и разбойников. Я узнал, что его отложили на 4-ое, по возвращении из Бисетра.

В тюрьме существовала одна несчастная, Дерю (вдова известного отравителя), которую, после долголетнего заключения, во время которого она родила ребенка, по слухам, от Ладиксмери—наконец, наказали плетьми, заклеймив ее белые плечи, как недавно графине Ламотт (графиня де-Баллуа-Ламотт, героиня дела с ожерельем королевы), и посадили в Форс при Сальпетриере на весь остаток ее жизни. Эта женщина, по слухам, была главной причиной этой экспедиции на женщин госпиталя... Про нее говорили, что она была красавица, но в то же время интриганка, озлобленная, способная на все; не раз говорила, что была бы счастлива увидеть Париж, залитый кровью, или поджечь его... Но меня всего более удивляет то, что все знали об этом проекте, и что ни кто ему не помешал. Наоборот, на следующий день, в семь часов утра, разбойники выступили, в сопровождении двух людей, „с шарфами через плечо“, — во избежание беспорядка, как говорили.

Пришли. Какой-то простолюдин закричал среди двора во все горло:

— Начальницу, начальницу, с нее надо начинать!

Это не входило в планы. Явившаяся начальница и сестры выказали страх, внущенный им этим человеком.

— Подождите, — сказал один марселец, — последующее передаю буквально, со слов свидетеля-очевидца, — я вас от него избавлю!

И рассек ему череп ударом сабли, потом отбросил его к стене.

Приказали открыть дверь женской Форс. Женщины затрепетали от радости (как прежде бывало в тюрьмах), думая, что пришли их освободить. Здесь следовали списку. Их вызывали по старшинству. Читали причину заключения, выводили из одного двора и убивали на другом. Вдова Дерю оказалась четвертою или пятою, и оповестила всех остальных об ожидающей их части ужасными криками, так как разбойники, забавляясь, обращались к ней с непристойностями. Ее труп не был от них избавлен и после смерти. Сорок женщин были убиты здесь.

Пока эта кровавая сцена происходила в одной части Форс, по другим бегали распутники и негодяи всей Франции или даже всей Европы. Прежде всего сутенеры выпустили всех проституток. Надо было видеть эту сцену. Она не была кровава; но едва ли можно было увидеть нечто, более непристойное. Все эти женщины предлагали своим освободителям, равно как и каждому первому встречному, то, что они называли любовью... Но оторвем наши взоры от этой картины и направим их на другую, которая не будет ни более пристойной, ни более ускользающей, ни более иравственной, но которая, по крайней мере, не явится изображением двойной испорченности.

Сутенеры и чернь бросились в женскую тюрьму. Другие распутники проникли в приют для девиц, приют „домашних служанок“, т.е. тех, которые там воспитывались. Несчастные ведут там печальную жизнь. Вечно за пыльными занятиями и под страхом розги учительницы, обреченные на вечное девство, на плохую и невкусную пищу, они исходят иного счастья, как только чтобы кто-нибудь пригласил их в прислуги или на какую-либо тяжелую работу. Да и тогда, что за жизнь? При первой жалобе несправедливого хозяина или хозяйки, их берут обратно в приют для наказания... Нетрудно почувствовать, насколько эти существа унижены и несчастны... Вот к этим-то забытым и униженным существам, которые, будучи случайно брошены в общество, остаются в нем всегда презряемыми, —

ворвалось все, что было наиболее распутного и наиболее злодейского в Европе... Негодяи обежали все дортуары в то время, как молодые девушки вставали. Они выбирали из них тех, которые им более нравились, и овладевали ими тут же, на глазах подруг. Ни одна из этих девушек не была изнасилована, так как ни одна не сопротивлялась. Доведенные почти до униженного состояния рабынь-негритянок, они ловились малейшему приказанию. Некоторые честные молодые люди, находившиеся в толпе лишь в качестве любопытных, спасали девушек, уводя их из этого места... Так как среди девушек есть много дочерей бедных родителей, то часто у них оказываются братья и сестры в предместьях или в деревне. Один молодой пивовар бродил по спальням, кого-то разыскивая. Наконец он увидел молодую девушку, оказавшую некоторое сопротивление и отбивавшуюся от немца, замахнувшегося, чтобы дать ей пощечину. Молодой пивовар бросается на немца и оглушает его дубинкой. Вся толпа восстает против его поступка.

— Ах, боже мой! — восклицает пивовар. — Это — моя сестра. Неужели вы хотите, чтобы я допустил целовать ее на моих глазах?

Тогда все приняли его сторону, и он увел девушку.

Другая сцена произошла на глазах у моего свидетеля.

Одну из наиболее красивых девушек преследовал парень из мясной. Он уже поймал ее и охватил, как вдруг девушка обернулась.

— А, мой братец! — воскликнула она, глядя ему в глаза.

Мясник остановился, и вслед затем ушел, уведя с собою и сестру.

Одна из девушек, впрочем, оказалась удачливой. То была молоденькая блондинка, быть может, единственная безусловно красивая девушка в приюте. При виде разбойников, она заклеила себе лицо пластырем и вымазала его грязью. Среди входивших она заметила мужчину лет сорока, внушившему ей некоторое доверие. Гиацинта Гандо, так звали девушку, вытерла лицо и бросилась к нему с криком: „Отец, спасите меня!“ Мужчина накрыл ее своим плащем, и увел, говоря: „Это моя дочь!..“ Придя в его дом, Гиацинта бросилась к нему на грудь, со словами: „Делайте со мною что хотите, но только никогда не отсылайте меня обратно в приют“. Мужчина привязался к ней, найдя в ней, кроме красоты, и добрый нрав. Что было дальше? После того, как у нее родился сын в начале мая, он на ней женился...

Эта история меня несколько утишила... Событие в приюте „домовых служанок“ завершило разгром Сальпетриер. Простимся с этим несчастливым сентябрём, который когда-нибудь займет такое видное место в нашей истории.

XX.

Король и его семья в башне Тампль (5—6 октября 1792).

Меж тем Национальный Конвент действовал. Мы видели Марата, наряду с Нетионом, Колло рядом с Мерсье... соединения, строжайшим образом запрещенные Моисеем в книге Чисел. Правда, что мы, быть может, не евреи...

Было замечено, что из соседних к Тамплю домов женщины в больших платьях и мужчины, напоминающие по виду и одежде старый режим, делали знаки узникам, заключенным в Тампль; получались письма в узлах с бельем от прачки и т. д. Чтобы избежать этих неудобств, Коммуна, с 9 на 10 августа приняла решение, что узники должны быть помешаны теснее. Приготовили башню, и Людовик был пересведен туда вместе со своею семьей. Это удвоение предосторожностей должно было указать ему на его судьбу... Людовик, меж тем, углубился в книги. Он занялся обучением сына. Его домашняя жизнь протекала правильно. Она была бы даже счастливой, если бы не мрачная перспектива впереди. Никогда он не был таким мужем, таким отцом, как теперь... Да не подумают читатели, будь то аристократы или патриоты, что я хочу возбудить бесплодную жалость к его участи! Я слишком хорошо знаю цену людской жалости, и общественное мнение меня уже давно не занимает!... Я передаю то, что есть. Я не жалею Людовика. Я слишком мало имел дела с королями, я так и писал даже кому-то: „Пусть короли сами жалеют друг друга! Это не мои ближние...“

Людовик переселился в башню, повидимому, без волнения. К тому же, он был там устроен удобно. Он продолжал видеться с женою и детьми. Известен каталог его книг. Он мог бы выбрать кое-что получше; но его выбором руководили. Я впервые пошел посмотреть замок Тампль, превращенный в тюрьму.

Я разглядывал его. Множество мыслей нахлынуло на меня. Сколько эти размышления были бы глубоки десять лет тому назад!.. Я думал бы о непостоянстве всего земного...

В ночь с 5 на 6 октября 1792 г. все мысли слились в одну: о тщете жизни существ разумных и бессознательных; год, два, три, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят лет жизни, иногда восемьдесят или сто, если прибавить к ним прозябанье,—в течение которых существо существует, словно живет вечно. Вот о чем я думал. Счастливый живет более усладительно, но однобразие его жизни утомляет его. Несчастный страдает, но зато его волнуют опасения, надежды: он живет богаче. Вот к чему свелись мои рассуждения. Я убедился, что сумма добра и зла всегда равна, во всех положениях.

И вместо ожидаемых потрясений я вернулся домой более спокойным, более бесчувственным, чем когда-либо... Дорогой я думал о смерти... И я так ясно видел пустоту жизни, если она только не наполнена творческим волнением, имеющим целью вызвать в умах других людей идеал жизни, более справедливой для обездоленных! Я пожалел Людовика лишь постольку, поскольку он будет жить и ощущать свое несчастье. Злополучный, какое существование осталось на его долю? Он не употребил усилий, чтобы жить с Революцией в мире, быть может, не смог; но как бы он мог жить с контр-революцией, в ежовых рукаицах ее победителей? Покрытый бесчестием, позором и презрением, он прозябал бы еще некоторое время...

Яшел, погруженный в эти мысли...

На улице Генеро я увидел человека, лицо которого было скрыто широкополой шляпой. Но мне показалось, что я узнаю его по осанке. Он подошел ко мне и сказал, приподнявшиа шляпу:

— Вот я перед вами! Вы знаете, какие обо мне ходили слухи? Ну, вот, я чист, как снег!

— Тем лучше,—сказал я;—но, однако, я нахожу неосторожным с вашей стороны появляться на улицах.

— Это, ведь, я послал однажды мою прислугу предупредить вас, когда вы проходили по улице Сен-Жак.

— Вот как? Вы меня страшно заинтриговали!.. Я подумал, что со мною хочет говорить старик д'Эспильи, а так как я никогда не любил банкротов, то я наотрез отказался.

— То был я... Не хотите ли зайти ко мне?

— Нет, я не хочу знать, где вы живете.

Я помешал ему сказать мне свой адрес. Он убедительно просил меня разрешить ему прислать за мною его кухарку. Я решительно отказался.

— Однаково ради вас, и ради меня,—сказал я ему.— Моя наружность бросается в глаза, и, видя меня идущим к вам, за мною могли бы начать следить и добираться до вас. Прощайте!

И я расстался с ним. Два раза встречал я его после того на улице Сент-Оноре. Этот человек был черезчур известный аббат Руа.

Не знаю, что с ним стало. Я ничего не слышал о нем после 3 сентября.

Заканчиваю на этом эту ночь, которая кажется менее интересной по фактам; но она ведет к другим событиям.

XXI.

На Ретифа нападают на острове Сен-Луи (3 ноября 1792 г.).

3 ноября 1792 года я проходил по острову Сен-Луи, роввращаясь с восточной его окраины. Мальчики играли в патруль. Я думал, что они меня не знают, а если и знали, то забыли. Однако, один из них, нападавший на меня уже как-то раньше, предупредил остальных. В ту же минуту все дети стали осыпать меня камнями, сопровождая это бранными словами. Я укрылся в улицу Де-Пон. Они побежали за мною, забросали меня грязью, и могли бы подвергнуть опасности мою жизнь, если бы по близости оказался кто-нибудь из взрослых пегодлев, нападавших на меня раньше. Я слишком хорошо знал народ, чтобы обращаться за помощью в страже. Часовой видел меня, но был так добр, что не остановил меня. Я ушел по улице Гильом... 5-го числа они напали на меня с еще большим ожесточением, и я слышал, как маленькие людоеды сковывались позвать на помощь, чтобы убить меня. Меня осипали градом камней, я был ранен. Меня выручила их мысль позвать на помощь людей; я вернулся на остров по западной улице Сен-Луи. Я слышал за собою по набережнымтопот маленьких людоедов. Я побежал, равно как и они, чтобы они меня не обогнали, и мне посчастливилось вбежать на мост Турнель, в ту самую минуту, как они добежали до караульного поста. С той поры я прихожу на остров только по ночам и, покидая его, целую его камни.

XXII.

Провозглашение Республики (21 сентября 1792 г.).

Теперь нам предстоит рассказывать только чудеса, и история конца кампании 1792 года может быть названа „Французской Феерней..“ Лонгви и Верден были только что взяты (23 августа и 7 сентября 1792). Тионвиль остановил усилия врагов. С Тионвиля начинаются чудеса французов. Еще более возносит их славу то, что эти чудеса были приостановлены только самою гнусною, самою неожиданною, самою необъяснимою из измен: изменою Дюмурье.

Вимпфен остановил пруссаков в Тионвиле, в ту минуту, когда они собирались вступить в изобильную страну, которая должна была бы поднять их силы. С другой стороны, Дюмурье, Келлерман, Диллон, Валанс, Лабурдонэ, удачно расположившиеся лагерем, сдерживали герцога Брауншвейгского и Касселя. Был ли он уже в то время предателем, этот Дюмурье? Утверждают, что да, ибо он мог взять в плен и Фридриха-Вильгельма, и герцога Брауншвейгского. Диллон, с другой стороны, писал Касселю, чтобы он отошел, и словно шутил с ним. В Париже говорили, что пруссака щадят, чтобы подготовить союз с ним. Но, быть может, то были агенты Дюмурье, которые обрабатывали общественное мнение?.. Как бы то ни было, но Фридрих-Вильгельм и герцог Брауншвейгский эвакуировали Верден (13 октября), Лонгви (21 октября) и всю территорию Республики (22 октября). Их преследовали вяло. Но отважный Кюстин бросается вперед, берет Спир (30 сентября), Вормс (4 октября), Майнц (21 октября), Франкфурт (23 октября), и взял бы Кобленц, Кельн и всю Германию, если бы бессчастный Келлерман оказал ему поддержку. Париж был в упоении..

С другой стороны, Дюмурье—о, был ли он уже в то время изменником?—обещает Конвенту зимовать в Брюсселе. Он отправляется. Монс взят в результате победы при Йемаппе (6 ноября); войска вступают в Турнэ (8 ноября); в Брюгге (18 ноября), Брюссель (14 ноября), Малин, Ган, Антверпен (18 ноября), Намюр (2 декабря), Льеж (27 ноября) — места уже с французским населением; в Э-ла-Шапель (8 декабря), местопребывание Карла Великого; все это каким-то волшебством возводится с прежними странами-сестрами.

Маленькая превратность судьбы: Франкфурт снова у нас отнят... Но Дюмурье—ха! был ли он уже изменником?—бросается в Голландию. Взяты Бреда (25 февраля 1793), Гертруденберг (5 марта); Маастрихт осажден... В Париже уже говорят, что он взят... Амстердам готов открыть ворота...

Не забудем еще, что к Республике присоединена Савойя, что графство Ницца присоединено к Провансу (31 января 1793); что создана серьезная угроза Сардинии. Все эти успехи занимают в общем не более шести месяцев... Остановимся; черная туча в эту минуту собирается над нашей славой.

Я вышел около пяти часов, чтобы пройтись по моему острову (Сен-Луи). Я обошел его, начав с восточной стороны. Я был глубоко озабочен военными событиями: Верден взят обратно, неприятель изгнан с территории Республики!. Я вспомнил о том, что Республика была провозглашена Конвентом 21 сентября 1792 года вечером. Колло, небрежно, в ту минуту, когда заканчивалось заседание, внес предложение об „уничтожении королевской власти“, и Конвент декретировал его, расходясь. На какие размышления навела бы каждого, кроме меня, эта важная перемена!.. Но я, будучи уверен в том, что люди не в состоянии сделать никакого блага без ущерба, и никакого зла без возмещающих его выгод,—я находил, что в данном случае избегли, по крайней мере, потери времени... Это—ужасная философия, и, между тем, она—единственно правильная. Люди не способны создать ни добра, ни зла, и мудрая природа желала этого, для того, чтобы эти пигмеи, одаренные разумом, не возомнили себя богами. Всякое разумное существо, подобно горячему коню, привязано к столбику; оно может отойти от него только на длину своей привязи; и благо ему, если оно еще не укоротит ее, кружась и паматывая веревку на колышек.

Среди этих размышлений, я совершил почти полкруга по моему острову, и снова вернулся к дате: 25 ноября . . . 7 г. Я прочел эту дату и поцеловал камень, в котором она вырезана, ибо я люблю обряд „поминовения...“

ХХIII.

Людовик XVI перед судом Конвента (25—26 декабря 1792).

Я вышел 25-го, вечером, припомнив, что в 1768 году в этот же день я сочинил и набрал восемнадцать страниц моей „Незаконной Дочери“. Дни, в которые я много работал, для меня всегда вспоминались радостно, ибо следы от них остались. Я отправился предаться снова воспоминаниям на мой остров Сен-Луи, несмотря на оскорбления, которым я там подвергался, после тяжелого дня, проведенного с Батильдой, которую я учили читать и писать перед ее свадьбой. Я шел тихо, под защитой холода и мрака, прогнавших моих смешных врагов из моей дорогой лаборатории, как вдруг, дойдя до балкона старинного отеля Ламбер, я услышал беседу двух мужчин, говоривших громко:

— Завтра он должен предстать перед судом.

— Да полно, пойдет ли он?

— Пойдет, не то его приведут!

Этот короткий диалог,—мужчины вошли в дом—изменил весь круг моих мыслей. Я забыл о себе, и думал только о делах общественных. Я еще раз обошел остров. Однако, взволнованный тысячью мрачных мыслей, я написал на перилах, на том же перестроенном месте, где мною была сделана надпись в 1784 году: „*Pii boni servate in animum!*..“ Вслед за тем я покинул остров и направился к замку Тампль. Прошел мимо двери Бомарше, отдаваясь воспоминаниям при виде каждого предмета; на улице Мипель-Леконт, против улицы Маршан, жил мой бывший цензор. По улицам Верту и Филиппо (ныне часть ул. Реомюр), я вышел к Тамплю.

Число сторожей было удвоено. Глубокая тишина царила над всему этой местностью. Я пришел сюда, чтобы проникнуться новыми мыслями. Когда стареешь, то воображение скучеет. Я взглядался в замок... но вскоре я прошел дальше. Я направился по улице Перль. Так, на перекрестке этой улицы и улицы Шантье (ныне часть улицы Архивов), я застал женщину, с благородной осанкой, высокую, красивую, молодую девушку и юношу, бывшего воспитанника военной школы. Мать почувствовала себя плохо и опусти-

лась на каменную скамью. „Тише, мама“,—говорила ей высокая молодая девушка,—„тише! Кто-то идет!“

Я приблизился:

— Не могу ли я быть вам чем-либо полезным, сударыни?— спросил я.

— Увы! да,—отвечала молодая девушка.—Предложите мне руку с одной стороны, а я буду поддерживать ее с другой.

Я подал руку. Юноша сказал, обращаясь ко мне:

— Гражданин, мы вам чрезвычайно обязаны.

— Гражданин, гражданин... — пробормотала мать.— Почему господину не говорить „сударь“?

— Мамочка, таков теперь обычай,—сказала девушка.

Мы подвигались медленно, и миновали дворец Кардиналь, ранее Субиз (ныне Национальные Архивы); дама спросила меня:

— Думаете ли вы, сударь, что завтра король предстанет перед судом?

— Да, сударыня.

— Почему вы так думаете?

— Потому что уповаю на его разум.

— А, вы ему не враг! Поддержите меня, прошу вас.

— Я—его враг? К чему мне быть его врагом? Он уже и без того несчастен в тех условиях, в которых находится. Какой человек, на его месте, сумел бы из них выпутаться? Он, с одной стороны—под ножем закопа, которому сам присягал; а с другой—под кинжалом убийц!. Никто не стоит за него: ни свои, ни чужие!. Пример ужасный, явленный человечеству! Никогда нельзя достигнуть успеха, если хочешь удовлетворить всех...

— Да, да! он должен был приказать зарубить Генеральные Штаты!..

— Тише! тише! мама,—сказала барышня.—Гражданин, с некоторого времени мысли у нее путаются, вы должны ее извинить!

— Про меня говорят, что у меня мысли путаются, потому что с тех пор, как глава дворянства заключен здесь, я прихожу сюда каждый вечер молиться и теряю сознание перед его тюрьмой.

— Сударыня, успокойтесь,—сказал я ей.—Ни кто больше меня не сочувствует человеческим слабостям! Я скорблю о них и стараюсь их облегчить... Но раз вы—христианка,

раз вы приходите молиться, то я хочу спросить вас: хорошо ли вы знаете христианскую религию?

— Знаю, как меня ей учили!

— Изучали ли вы ее по евангелию? Ибо все другие источники следует признать нечестивыми.

— Я читала некоторые послания и некоторые евангелия в моих „Часах“...

— Этого недостаточно. Следует взять новый завет, простираясь его с начала до конца, и тогда вы увидите, что христианство — религия кротости, братства, уничижения, самоотречения; вы прочтете там, что в эпоху первых христиан не надо было быть дворянином, или надо было отречься от дворянства, чтобы сделаться равным своим братьям; надо было быть покорным, бедным, последним, всем слугою, не в силу пустой формулы, как папы, наместники Петра, но в действительности! Прочтите евангелие. Если вы им проникнетесь, в чем я убежден, то вы увидите, что это — книга самая республиканская, самая демократическая, которая когда-либо существовала; вы увидите, что священники, из-за которых несчастный Людовик теряет корону, а, быть может, потеряет и самую жизнь, — суть сплошь мопшенники, вероотступники, негодяи и певежды..

Тут дама оставила мою руку. Она пустилась бежать легкими шагами... Барышня, прощаясь со мною, сказала:

— Мысли у нее путаются, и мы в отчаянии...

Она удалилась. Но я последовал за ними на расстояние, чтобы защитить их, в случае нападения. Они вошли в дом, а я вернулся тою же дорогою, откуда пришел, через остров Сен-Луи. Я обошел его с западной стороны. На епархиальной церкви пробило полночь. Я лег спать.

В шесть часов утра, на следующий день, я уже был на ногах. Я отправился, чтобы стать на проезде короля.

„Неужели необходимо, чтобы властные обстоятельства заставили меня покинуть работу, необходимую мне для поддержания существования?“ подумал я... „Но я еще поработаю“...

Я прождал около четырех часов. По счастливой случайности я оказался рядом с секретарем г. де-Лианкура, бывшего члена Конституанты. Он был знаком с тем богатым человеком, который увел молодую девушку из приюта „домашних служанок“. Он сказал, что человек этот расположен закрепить законным браком свой союз с Гиацинто Гандо.

Мы видели, как провезли Людовика. Мы отправились

в здание Конвента, куда секретарь впустил меня. Я присутствовал при допросе Людовика. Я слушал его ответы, и признавался самому себе, что он отвечал с большим хладнокровием, чем мог бы отвечать я, если бы был на его месте. Всем хорошо известны предлагавшиеся ему вопросы и его ответы; я не буду увеличивать этим материалом мою книгу.

В тот день ничего более не случилось замечательного, если не считать того, что я принял в моей секции под свою защиту честного гражданина, на которого напали низкие клеветники. Должен признаться, что я не имел успеха.

Оттуда я отправился на мой остров. Погрузился в размышления.

Какого зрелица пришло мне быть свидетелем сегодня? Монарх, так недавно еще внушавший страх даже иностранным державам, явился в качестве преступника перед представителями своего народа, которые были самим „народом“, которые были избираемы, сменяемы и скоро должны были вернуться в свое сословие. Мое глубокое изумление было единичным; никто его не разделял. Все, кто являлись зрителями, вместе со мною, смотрели на то, что перед нами произошло сегодня, как на вещь обычную. Ни малейшего волнения! Взволнован был я один, а если другие и были взволнованы, то они это скрывали... Я отнюдь не аристократ, несмотря на широту моих взглядов. Я так же вовсе и не дурак, которого все изумляет. Чем же объясняется то, что я был взволнован? Тем, что я все переживаю сильно, а другие этого не чувствуют!... Чем объяснить то, что я пропуливаюсь здесь, подвергал себя оскорблению, начиная с 1785 года, когда впервые я был оскорблен там мальчишками, которых натравил на меня тот самый негодяй (зять Оже), что заставил меня провести в ратуше ночь с 28 на 29 октября 1789 г.? Дело в том, что я жаден до ощущений; что, благодаря записанными мною датам, которые я перечитываю всегда с восторгом, при свете этих фонарей, — я переживаю те годы, когда я их заносил, те страсти, что меня в то время волновали, вспоминаю любимых мною людей. Прочитывая, например, сегодня одну дату, я вижу, что в 1777 г. я был счастлив, сочиняя моего „Нового Абеляра“, обожая старшую Тонион (мэль Пойнот), такую чистую, такую изящную; что в 1778 г. мое счастье было смущено одною неосторожностью; что в 1779 г. я потерял Меробер, и надежду на окончание важного труда, обрывки которого можно видеть в „Крестьянине — Кресть-

янке" и т. д., что в 1780 г. я жил в опьянении, причиной которого была Сара; что в 1781 г. я переживал боль, причиненную мне тою же женщиной; что в 1782 г. я был покоен; что в 1783 я слегка волновался моим чувством к г-же Майар, что в 1784 я дрожал за мою „Испорченную Крестьянку“, которой грозила опасность; что в 1785 г. я был удивлен тем, что избежал в этом году потери; что в 1786 г: я писал моих „Парижанок“; что в 1787 г. я начал мои „Парижские Ноти“, что в 1788 г. я их закончил; что в 1789 я приходил сюда с трепетом; что в 1790 г. я был в жестоких горестах, в отчаянии; что в 1791 г. мое горе еще продолжалось, что в 1792 г. я окончил печатание „Драмы Жизни“, что в 1793, текущем году, я нашел великодушного друга, который приходит мне на помощь, чтобы закончить печатание моего труда: *Année des Dames nationales* и начать „Сердце человеческое разоблаченное“... В одну минуту я переживаю сразу пятнадцать разных годов. Я медленно наслаждаюсь ими... Вот почему я возвращаюсь сюда, несмотря на опасности. Правда, что отсутствие спокойствия, которого меня лишает буйное молодое поколение,— уменьшает мою радость; но не уничтожает ее в конец. Я не могу наслаждаться здесь благодетельными лучами солнца; я могу приходить сюда только вечером, рискуя быть убитым бандитами; но эта боязнь не уничтожает во мне моей чувствительности.

Я спокойно закончил мои пол-круга и отправился в кафе Робер-Манури, затем во дворец Равенства (Шале-Рояль); и наконец, домой спать, чтобы на утро начать все сначала...

XXIV.

Защита Людовика XVI (16 января 1793 г.).

С тех пор, как Людовик предстал перед судом Конвента, его процессом стали заниматься. Разрешено было явиться его защитникам. Старик Мальзерб расстался со своим уединением, и приехал искать этого тяжкого заступничества, далеко превышавшего его силы. Людовик назвал Таржэ, который отказался; затем Трейльяра и де Сез, которые согласились. Его адвокаты входят с ним в сношения. Им сообщают обвинительные документы. Двадцатью годами раньше Мальзерб, может быть, знал бы, как за это приняться; де-

Сез и Трейльяр этого даже и не подозревали. Разве в его силах было восстановить свой былой авторитет, когда надо было защищать короля, власть которого была ограничена и введена в известные рамки? Ни кто не сомневался в том, что он напряг для этого все усилия, и открыто, и втайне... Если Людовик был виновен, то вина его заключалась в его заблуждении, в его ослеплении; в том, что он не распознал своей собственной пользы; что он не видел единственного разумного пути, лежавшего перед ним: а именно—броситься в объятия Народа, и своею искренностью, своюю преданностью Конституции, бравшей его под свое покровительство, как и про- чих граждан—вернуть себе все, что было им проиграно, благодаря дурным советам окружавших его глупцов и ослепленных; вина его была в том, что он не принял решительных мер для сохранения мира за пределами отечества, и для удаления неприятеля. Вследствие своего заблуждения Людовик был виновен; он не понял того, какую участь ему готовили иностранцы; не понял того, что, помогая одержать победу своим братьям и дворянству, он создал бы себе тиранов, которые уничтожили бы и его власть, и права народа. О, Людовик, у вас и у большинства Народа был один общий интерес, и вы этого не почувствовали!.. Раз Конституция была выработана и принята вами, ваш интерес уже перестал быть интересом дворянства, ваших братьев и духовенства. Если религия связывала вас с интересами духовенства, то это была снова ошибка с вашей стороны. Христианское духовенство не должно быть богатым. Вы видели, как Екатерина перевела свое духовенство на пенсию, которая должна была покрывать их содержание: разве вы назвали ее за это нечестивою?.. Людовик, вы были слепы, но вы не совершили преступления. Поэтому, ваш неискусный,—если не преступный,—защитник должен был стараться не смыть с вас обвинение в определенном преступлении, известном всем; он был уверен, что с этим не справится; но он должен был сказать то, что чувствовали все: он должен был сказать, что мы заинтересованы политически в вашем сохранении; надо было доводы тех, которые требовали казни, опрокинуть доказательствами ясными, ослепительными, которые убедили бы всю Францию. Но вы, де-Сез, не были тем человеком, который для этого нужен. Нужен был гений, вам его не хватало! Поставьте на ваше место Мирабо, или хотя бы Линге в его лучшие дни: они заставили бы трепетать Конвент и всю Францию! Вот как

и иногда полу-таланты губят все дело. Привожу здесь заранее те размышления, которые мне пришли в голову, пока я слушал и после того, как я выслушал речи де-Сеза.

16 января я вышел из дома, чтобы послушать его, и мне это удалось. Я окунул взором этот огромный полукруг, где сидели семьсот человек, которым предстояло судить короля. Я увидел монарха, никогда столь могущественного, стоявшего в качестве преступника перед своими судьями. Я изумился. Но минуту спустя, я сказал себе:

„Это человек перед людьми, это слабейший перед сильнейшими, это — король перед людьми, которые не хотят больше короля; король их стесняет. Что им с ним делать?“

Эти мысли учили меня несказанно!. Чтобы чем-нибудь отвлечься, я углубился в ряд веков. Мне представилось, как в 1992 году — через двести лет — люди будут читать нашу историю. Я сделал усилие, чтобы услыхать их, и услыхал. Суровость их приговоров испугала меня. Мне почудилось, что одни из них упрекали нас в отсутствии гуманности, меж тем как крайние, каких мы видим среди нас в наши дни, нас одобряли. Мне показалось, что вся Европа перешла к новому устройству; но на страницах истории я прочел ужасные потрясения, через которые она прошла. Мне казалось, что я слышу, как читатели говорят друг другу: „Как мы счастливы, что живем не в эти ужасные времена, когда жизнь человеческая считалась за ничто“. Один из философов того времени воскликнул:

« — Время от времени необходимы такие встряски, чтобы заставить людей лучше ценить спокойствие, как человеку нужна болезнь, чтобы признать всю важность здоровья!

« — Но,—спросил один из его собратьев,—хотел ли бы ты быть встряхивателем или встряхиваемым?

« — Нет, нет, я не хотел бы быть ими, но я ничего не имел бы против, если бы я был ими в прошлом. Когда буря проходит, то, если ты не умер, чувствуешь наслаждение..

« — Ах, вы, философы! — воскликнул мечтатель, притаившийся в углу. — Вы уже были ими, вы же были людьми того времени, которое отделено от нас двумя сотнями лет. Вы состояте из их органических молекул. И вы только потому и живете мирно, что эти молекулы устали воевать и требуют покоя. Вы вернетесь опять к старому после долгого отдыха!»

Тут де-Сез прервал мои мечты.

После речи де-Сеза, которую я прослушал внимательно, Людовика и его защитников удалили; царила глубокая тишина. Не видно было того огромного движения, которое вызывается красноречием; речь де-Сеза тронула только его и меня. Я был болезненно удручен утратою великих перспектив, неиспользованными мыслями о народном благе! Ибо, в делах общественных, каково дело Людовика, оставьте в стороне человека, будь он хотя бы король; говорите только об общественных интересах. Взывания к жалости и даже к справедливости не производят никакого впечатления на народ, который находит, что его благо заключается в уничтожении им одного из своих волос. Я вышел, удрученный болью, и, уходя, подумал: „Я говорил бы лучше“. Я шел долго, и начинало темнеть. Шел домой обедать, более разбитый усталостью, нежели голодом...

Когда я проходил по набережной Вольтера, я увидел под ногами бумажку, сложенную вчетверо. Я поднял ее и подошел прочесть ее при свете фонаря. Она заключала в себе следующие слова: „Речь, которую столь долго ожидали, произнесена; ничего! ничего! Tempus et aer, solitudo mera. Злополучный человек погиб, погиб! Нечего больше обольщаться“.

XXV.

Убийство члена Конвента у ресторатора Феврие в Пале-Рояле (20 января 1793 г.).

Было около пяти часов. Я грустно проходил под арками Пале-Рояля, завернувшись в мой плащ, как вдруг увидел вышедшего человека, безоружного, и вдруг бросившегося бежать. Я столько видел и бегущих, и преследующих людей в этом саду Равенства (Пале-Рояль), что я не удивился: „Еще какой-то несчастный“, — подумал я. Я не знал, что я жалею убийцу!.. Несколько человек вышли вслед за ним бегом. Я не вымолвил ни слова. Я, быть может, мог бы содействовать поимке Пари (бывший королевский гвардеец), указав направление, в котором он пошел; но я ничего не знал. Только когда собралась толпа, я узнал о преступлении. Я так мало обратил внимания на первого беглеца, что не могу сказать, как он был одет. Мне рассказали подробности: как мошенник и негодяй Пари обедал

у ресторатора Феврие, где был также и Ле-Пеллетье; как, в ту минуту, когда Ле-Пеллетье собирался расплатиться, негодяй подошел к нему с вопросом, не он ли изверг Ле-Челетье.

— Я—Ле-Пеллетье,—отвечал тот,—но я не изверг.

Как Пари добавил, не голосовал ли он за смерть (короля)?

— Я думал, что обязан голосовать так, согласно моей совести.

И наконец, как Пари, после этих слов, вытащил из-под сюртука короткую саблю и распорол Ле-Пеллетье живот... Я отошел, выслушав этот печальный рассказ, только увеличивший мою грусть. При входе в кафе Каво, я встретил молодую девушку по имени Сесиль, которая бросилась ко мне:

— Батюшка,—сказала она,—злой человек, негодяй Пари, проходя по боковой галерее, ударил меня кулаком.

— Где он? Где он?—воскликнул я.

— Нет,—сказала молодая девушка, удерживая меня:—он нас убьет...

Я бросился назад, заглядывая всем в лица, так как мне казалось, что я узнаю Пари по его растерянному виду. Когда я дошел до прохода Валуа, то увидел человека, шедшего по проходу Монтозье; мне показалось, что это Пари. Я подошел к нему, и, прикинувшись провинциалом, спросил, как мне пройти в Пале-Рояль. Он молча взял меня за руку, подошел ко входу в пассаж, и толкнул меня в него, произнеся единственное слово: „Иди!“ Был ли то Пари?—Я так полагаю.

Я покинул Дворец Равенства и направился в Национальное Собрание.

XXVI.

Казнь Людовика XVI (21 января 1793).

Приговор произнесен! Какова же причина этого нововведения, которое все считали неразумным? Причина следующая: прошлое осенью распространился слух, что Людовика выведут из Тампли, переправят в прусскую армию, и что Дюмульье его пропустит; переговоры поведут потом. Этот слух убедил тех, кто хотел быть убежденным. Кто помешал

этому событию совериться, так это сам Людовик. Приходилось убить двух тюремщиков, повидимому, неподкупных. Людовик, по слухам, заявил, что если будет пролита хоть одна капля крови, то он сам поднимет крик и озовестит стражу. Эта черта прекрасна! И если она истинна, то Людовик лучше многих королей, более счастливых, чем они... Рассказывают, будто это стало известным; но что поведение Дюмульье, который гнал неприятеля, вынуждало молчать. Уверяют, что люди, жаждавшие смерти Людовика XVI, после этого решили, что охранять его дольше невозможно; если осудить его на заключение, то он подпадет намерениям тех, что хотят освободить его из тюрьмы и поставить во главе неприятельских армий и эмигрантов; в этом причина смертельной ненависти, которую партия „в пользу смерти“ питает к представителям „в пользу заключения“, рассматривая последних, как настоящих контр-революционеров... Таковы были причины ужасного события, которое мне предстоит рассказать. Достоверны ли они? Вскоре мы увидим. Достаточны ли они? Всем известны мои взгляды на законы человеческие и на большинство, которое всегда надлежит уважать. Итак, я молчу.

20 января я покинул работу перед обедом; я вышел из моего печального жилища, охваченного трепетом и беспокойством. Все было спокойно, как всегда. Я направился сначала по моей обычной дороге, по улице Нуайе, по улицам Фуен, Лагарп, Лиондель, по набережной Валле, через Новый Мост, по улице Арбр-Сек, улице Сент-Оноре, Пале-Рояль. Тут я остановился послушать, о чем говорят. Все было наполнено толками об убийстве Ле-Пеллетье, совершенном Пари. О Людовике почти не говорили. Я был этим глубоко изумлен... Я покинул кафе Фуа и вошел в кафе Шартр, на углу улицы Монтозье. Те же разговоры; но тут немного более говорили о Людовике. Я не узнал ничего нового...

Мне захотелось увидеть, что происходит в окрестностях Тампли, и я отправился поспешно в Марэ. Дойдя до конца улицы Сент-Авуа, я увидел выходящими из улицы Розье Аделанду и ее набожную мать. Они не следовали по своей обычной дороге к Тампли, вероятно потому, что их заметили. Позади них шел их слуга. Они меня не видели. Дойдя до улицы Филиппо (выше часть улицы Реомюр), они преклонили колена, причем слуга их стоял впереди, и мать молилась весьма горячо. Затем она с трудом поднялась, дошла и села на ступеньки у церкви, кажется, Нотр-Дам-де

Назарет. Там она снова начала молиться, обратясь в сторону Тампли. В эту минуту проходил патруль...

Я вернулся в улицу Сент-Оноре. В эту ночь я не ложился спать, так как должен был идти с товарищами, в пять часов утра, составлять живую изгородь вдоль бульваров. Я прошел до улицы Вандом, где, вместе с другими, ждал известий о Ле-Пелле.

Пора было мне возвращаться в мой квартал. Я пришел туда в пять часов. Начинали собираться. Я взял свою пику и стал в ряд, несмотря на ужасную усталость. Наш капитан появился в шесть часов. Моя бледность и моя дрожь были причиной того, что он отоспал меня домой.

— Вы больны,—сказал он,—пойдите отдохните!

Я вышел из ряда; но (здесь начинается вставной лист) я пошел в качестве добровольца, с пикой, посмотреть, что будет происходить.

В семь часов мы были у Тампли. В восемь Людовик вышел оттуда... Но здесь я должен передать кое-какие детали, сообщенные мне очевидцем.

Людовик, выслушав чтение декрета, который приговаривал его к смерти, поужинал, лег спать, спал с храпом. Однако, когда он остался один, на минуту после чтения рокового документа, слышали, как он ходил взад и вперед, воскликвая: „Палачи! Палачи!“ Он попросил в качестве духовника послушного священника, жившего на улице Бак. Это ему было разрешено. Он заперся с ним наедине. Написал свое завещание, с помощью этого священника, 20-го вечером. Он виделся с семьею, но не простился с нею. Утром он был разбужен Клери по приказу, данному ему двумя членами муниципалитета, посланными Коммуной. Он встал. Когда явились два комиссара Коммуны, Людовик попросил одного из них, Жака Ру, священника, взять на себя передать пакет муниципалитету. Жак Ру отвечал: „Я этого не могу. Я послан сюда, чтобы везти вас на казнь“. Людовик сказал: „Правильно“, и поручил пакет кому-то другому, кто и доставил его по назначению.

Людовик выехал в восемь часов в карете мэра Шамбона (де-Монто) один с духовником. Накануне удалили его адвокатов. Он проехал по бульварам, среди двух изгородей из национальных гвардейцев, отгонявших публику от окон. Он ехал тихо. Он прибыл на площадь Тюильри, бывшую Людовика XV, в восемь часов с четвертью. Вышел из кареты. У подножия эшафота ему связали руки; свободные руки могли помешать казни на гильотине. Он взошел. Военные инстру-

менты гремели. Он подошел к краю эшафота, обращенному на север, чтобы говорить. Инструменты на минуту замолкли; но приказ генерала (Сантэрра) заставил их загреметь снова. Людовик заговорил. Слово „прощаю“ было единственное, которое можно было расслышать. Палачи, предупрежденные, подвели его к столбам, и во мгновение ока он перестал жить...

Людовик не был обыкновенным тираном. Он родился на троне. Виновный, как король, он был еще гораздо более виновен в качестве частного человека. Как таковой, он и был осужден. И между ним и Карлом I та разница, что последний умер королем, и что первый им уже не был. Совершенно некстати де-Сезы и Мальзербы в своей аргументации исходили от королевского достоинства. А если бы он и был королем? Человек не может быть невинен, когда он содействует тому, чтобы погрузить свой народ в анархию и в море бедствий!. Он был клятвопреступником перед народом. Это величайшее из преступлений. Мог ли народ судить и казнить его? Этот вопрос не может быть поставлен мыслящим существом. Народ может все; у него та же власть, какую имел бы род людской, если бы весь земной шар управлялся одним народом, через одно правительство. Кто осмелится бы тогда оспаривать у рода человеческого его власть?.. Это—та неоспоримая власть, которая ощущалась древними греками, которой народ вправе пользоваться, даже чтобы погубить невинного, которая заставила его изгнать Аристидов и присуждать к смерти Фокионов Сограждане, установите истинные принципы и не отступайте от них. Не смешивайте годы революции с годами мирного царствования законов. И особенно против угнетения не прибегайте к покровительству законов, которых вы не хотите признавать. Это ребяческая непоследовательность. Вы находитесь за пределами закона, которого вы не признаете: он не обязан вас защищать. Эти правила суровы: но они справедливы.

Я пришел домой изумленный. И все были изумлены; да, оценение было всеобщее.

— То был только человек!—говорили доморощенные философы.

Согласен; но этот человек имел прямое отношение ко всем индивидам Франции. Каждый видел в нем близкого знакомого, человека, имя которого беспрестанно звучало в его ушах, чьим именем долгое время делалось все зло и все добро! Он был всего лишь человек, но в то же время то была точка соприкосновения двадцати тысяч человек. Вот откуда

всеобщее оцепенение. Но Людовик, сираведливо осужденный Нацией, был уже не более, как преступник. Можно было дать ему и отвратительное имя тирана, он сделал довольно зла, чтобы его заслужить. Я гражданин смиренный, человеческий, не федералист, еще того менее анархист (*здесь конец вставного листа*). Убежденный в несовершенстве человеческих законов, я в то же время чувствую, что ни одно общество не может существовать без них. Я чувствую больше того, что к законам следует прикасаться лишь с величайшей осторожностью, так как потрясения, вызываемые их изменением, всегда производят весьма реальную и столь чувствительную боль, лишая человека его привычек.

XXVII.

Ночные обыски в Пале-Рояле (27—28 января 1793).

27 вечером, я рано отправился в Пале-Рояль, и не найдя там никого из тех, что меня там иногда удерживают, я со-бирался уйти оттуда раньше девяти часов, как вдруг увидел национальных гвардейцев, которые явились и заняли все выходы. Впускали, как обычно, но не выпускали никого. Я узнал, что это посещение Дворца-Равенства производилось по приказу Комитета надзора Конвента, который, из двадцати четырех членов, декретом свелся на двенадцать, составлявших его ранее. Причины — или предлог — были: найти убийцу Пари, который, по слухам, был спрятан там, застать врасплох игорные дома, отыскать эмигрантов и подозрительных личностей, приютившихся в этом средоточии хаоса большого города.

Вначале у меня не было желания уйти. Мне хотелось дождаться результатов обыска. Пари не был найден: или его уже там не было, или он убежал в последнюю минуту. Но игроков было найдено множество и несколько эмигрантов. В ожидании, я беседовал с различными группами граждан и гражданок, которым очень хотелось идти домой спать... Ко мне подошел молодой человек, знакомый по кафе; он вел под руку двух женщин, мать и дочь, оставшихся одинокими, так как брат и дядя их отделились от них в толпе. Они присоединились к другим женщинам, с которыми я беседовал, так что у нас образовалась большая и уютная компания. Мы прохаживались взад и вперед. Молодой человек воспользовался случаем, когда я отошел, чтобы

назвать меня по имени и сказать несколько слов о моих произведениях. Кое-кто из этих женщин читал их, а девушки слышали о них, как о книгах, опасных для их возраста. Это удвоило желание прочесть их. Подойдя, я был удивлен воцарившимся общим молчанием, и тою манерой, с которой на меня поглядывали. Одна мать семейства предложила мне несколько вопросов о нравственности. Я ответил, ссылаясь на то уважение, которое приходилось питать по отношению к молодым девицам, в чьем присутствии не следовало позволять себе ни вольных речей, ни тем менее двусмысленностей.

— Зачем же вы писали такие произведения, которых они не должны читать?

— Потому что, сударыня, они не должны быть вечно молоды и неопытны: как только они выйдут замуж или достигнут двадцати пяти лет, они могут, они даже должны читать меня; из моих произведений они научатся завоевывать свое счастье и избегать опасностей... Моя мораль сурова, хотя я и рассказываю о дурных поступках; но чаще я рисую добрые дела, и эти из моих „Новелл“ читать всего приятнее.

Я имел удовлетворение услышать, как мать семейства произнесла вполголоса: „он прав!“ Молодые девицы стали мне снова улыбаться, и ужас, внушенный моим именем, рассеялся... Мы попробовали поискать выхода, пройдя под аркады. Но были остановлены часовым, стоявшим снаружи, который спросил у нас наши карточки граждан. Тогда мы поняли, каким образом могли выйти; и вернулись сказать об этом тем из задержанных вместе с нами, кто этого не знал. Мы пробыли еще с полчаса добровольно, отчасти в ожидании, что наши дамы найдут своих родственников, отчасти, чтобы посмотреть, как уводят игроков и эмигрантов.

Никогда в жизни не видел я физиономий, подобных физиономиям этих игроков; то были люди, сделанные как нарочно: их черты, подвижность их мускулов, все было бы нарочно: или чтобы выражать мошенничество путем сокращения; или чтобы заставить прочесть скрытую радость, или чтобы под видом спокойствия скрыть бешенство. Когда художники рисовали дьяволов, то они брали в качестве моделей игроков. Мы видели среди них несколько женщин. Одна из них была красива; но какая красота! Она внушала страх... Другие своюю деловитостью напоминали сутяг... Мострах...

лоденская девушка лет четырнадцати находилась в этой же компании, с двумя—тремя молодыми людьми ее возраста. Нам объяснили, что то были мошенница и мошенники, специально обученные отвлекать внимание играющих, обманывать их смешными выходками, а порою и мнимым безразсудством... Был там и старик, с седыми волосами, с почтенным видом и честным лицом. Мой молодой человек, бывший раз или два в его игорном доме, сказал, что не может понять, как этот плут мог сделаться им, не меняя совершенно своей наружности. Некогда он вел честную жизнь; но, разорясь на безумном предприятии, сделался картежным шулером, и наконец содержателем игорного дома. Ему доверяли, благодаря доброте его тона, честности его речей; он не изменил ни тона, ни внешности; у него было глубоко порочное сердце, меж тем как он все время выражал правильные и здравые мысли, без аффектации, с тою естественностью, которая в нем так привлекала. Этот негодяй мог бы написать поучительную книгу.

Когда мужья наших дам отыскались, мы вышли, предавив наши карточки. Мы тотчас же расстались, так как жили в различных кварталах. Молодой человек и его дамы пошли со мною. Мы шли по набережной Орфевр, как вдруг услыхали на реке крик. Мы подбежали к перилам и увидели человека, который, в платье, переплывая речной рукав. Другой плыл за ним следом, с оружием в руке. Эти люди были искусные пловцы. Мой юноша перебежал на ту сторону, чтобы увидеть их поближе. Но они достигли лестницы. Донышний первым взбежал по ней быстро и бросился бежать по улице; второй, взобравшись на набережную, и не видя никого, помедлил. Наконец он повернулся к Новому Мосту, идя навстречу моему юноше.

— Эге, сударь,—сказал ему тот,—как вы вымокли!

Человек ничего не ответил и удвоил шаг. Он вышел на площадь Дофин, и видя, что его преследуют, сделал грозный знак молодому человеку отойти назад. Этот, видя, что тот вооружен, не посмел ослушаться. Он вернулся к нам. Мы прошли домой в три часа утра.

XXVIII.

Разгром мелочных лавочников (26—27 февраля 1793 г.).

Мрачная меланхолия овладела мною. Несмотря на вести об успехах нашего оружия, меня волновало беспокойство... В городе было попрежнему. Толпы громили рассыпались повсюду. Я вышел около пяти часов, еще засветло. Едва я сделал несколько шагов по набережной, как увидел, что громят лавку против моста Турнель. Я узнаю, что предлог—дороговизна мыла. Я вижу женщин, принадлежащих к парижскому народу, столь отличающимся от народа деревень, потому что здесь он издавна унижен, потому что он темен и скрытен, потому что был богач, по старинной и скверной привычке, говорил ему „ты“ с таким видом и тем тоном, каким говорят с собакой,—женщин, которые с криками набрасываются и уничтожают все, не думая о завтрашнем дне.. Я пошел вперед, к мосту Турнель. На острове еще не было нападений на лавки; но в Хлебной гавани, на улице Мортелери, шел погром. Один каменщик тащил из лавки на углу улицы Барр семь голов сахара... Я указал на него нескольким женщинам, которые у него их отняли... Для стран, где господствует народ, я знаю только одно лекарство: это не равный раздел состояний, что невозможно, и что приходилось бы проделывать ежедневно заново, но коммунизм в том виде, как я его предлагал в 1782 году в моем „Антропографе“. Единственно этот проект, разумно выполненный и усовершенствованный, мог бы всех примирить... Если бы не я, а кто-либо иной сочинил моего „Антропографа“, то я проповедывал бы его с крыши и представил бы его в Национальный Конвент, но я не люблю выдвигаться вперед.

Я мог бы перечислить множество грабежей, разгромов, но это были бы лишь повторения...

Я исходил в этот вечер улицы Сент-Антуан, набережные Шеллетье, Жевр, Феррайль, улицы Арбр-Сек, Сент-Оноре, Новый Рынок, улицы Ж.-Ж. Руссо, Вердере, Вье-Огюстен, Шти-Шан и т. д. На улице Монмартр я увидел, что две женщины—мать и дочь—выходили из дверей осажденного лавочника. Мать была одною из моих старинных знакомых, которую я видел всего только один раз с тех пор, как она вышла замуж в 1786 году, т.-е. через шесть лет, ибо она

вышла замуж 11 июля 1780 г., как это записано на моем острове.

— Ах, сударь, я бегу в секцию сообщить, что в первом этаже убивают лавочника! Его жена и дочь испускают ужасные крики!

— Бегите! Вы найдете меня здесь. Я постараюсь войти.

Я вошел в дом, проник в лавку и по внутренней лестнице поднялся в первый этаж. Пройдя в комнату, я увидел трех бандитов, державших торговца, и еще трех, которые держали его жену, дочь и сына. Одного из них я знал: он у меня раньше работал. Я отошел к двери и крикнул оттуда: „Такой-то! я тебя знаю! ты пропал и твои сообщники тоже!“

В ту же минуту я бросился вниз по лестнице. Я услыхал шум: это они пытались отворить дверь лестницы. Минуту спустя сын лавочника крикнул:

— Эй, сударь, они убежали!

В самом деле шестеро разбойников скрылись. Меня благодарили, как освободителя... М-м Майль вернулась с дочерью в отчаянии: все солдаты были в патрулях, в караульне был только один часовой.

— Все уже исправлено,—сказали ей,—счастливым случаем, дославшим нам этого господина.

Я простился с м-м Майльо и с этими добрыми людьми около одиннадцати часов. Я не люблю возвращаться поздно, с тех пор, как гнусный герой VIII „ночи“ (XV часть „Парижских Ночей“) заставил следить за мной, с целью меня убить...

XXIX.

„Опустошения“ (18 февраля 1793 г.).

Мы накануне величайших несчастий, и они даже уже начались, без нашего ведома. Увы! в тот самый день, когда счастливая весть достигает к нам издалека, какое-нибудь несчастье сваливается на нас в том самом месте, откуда она вышла несколько дней тому назад!.. В ту минуту, когда казалось, что Париж несколько успокоился, когда секции обещали защищать собственность, удар, неожиданный, необъяснимый, непостижимый, вселил ужас во все сердца!.. В субботу восемьдесят вооруженных людей приходят в улицу Серпант; двадцать из них преграждают один конец улицы,

двадцать остальных загораживают другой. Они были в дра-
гунских мундирах. Сорок человек входят в типографию
газеты „Ла-Кроник“, — бывшей сначала патриотической, но
после перехода в другие руки ставшей федералистской, —
разбивают формы, печатные станки, раздирают отпечатанные
листы, даже относящиеся к другим изданиям; производят
это разрушение в пять минут и исчезают, при криках одного
частного лица, которого они не выпускали... Комиссия
секции Французского Театра удостоверила разгром.

В то время, как эта сцена происходила на улице Серпант, или после того как она закончилась, она была повторена у человека еще более виновного, так как он был депутатом, хвастуном и обманщиком. Этот принужден был бежать, так как ему грозили смертью. Он прошел, неузнанный, мимо разрушителей; с двумя пистолетами в руках, и боясь быть узнанным при выходе, в дверях, он перешагнул через садовую стену.

Панкук, со своим „Монитером“, и Прюдом, со своими „Революциями“, избегли участия своих предшественников вооружась; у первого на дворе стояла даже пушка.

Мое изумление было беспредельно, когда, проходя олиз улицы Серпант, я увидел ее прегражденою. Я не знал, к кому обратиться за разъяснением. Почему не установили такого правила, что всякое взыскание, которое производится в Республике днем и в особенности ночью, должно быть объявлено первому гражданину, который о нем запрашивает? Тогда было бы ясно, когда преступление совершается разбойниками, ибо отсутствие ответа обличало бы их. Почему не запрещено отдельным частным лицам преграждать свободный проход по улицам? В тот день, когда громили лавочников, сержант одного пикета не хотел пропустить меня, когда я возвращался по улице Вилья Этюв-Сент-Оноре (ныне ул. Соваль). Он грубо сказал мне, что я уже проходил здесь три раза,—меж тем, как я еще и не появлялся. А если бы я и прошел три раза, раз я был один, и шел мирно? Но грубиян повторял то, что он уже говорил другим; он хотел воспользоваться минутою своей власти, чтобы хоть кого-нибудь распечь. Остается еще много установить частичных законов или правил, прежде чем свободные граждане смогут пользоваться своею свободою... Итак, я прошел, ничего не узнав. Я ничего не узнал и вечером так как не возвращался в этот квартал. Я отправился в кафешную Робер-Манури, плотное население которого делало его

столь же забавным, сколь и поучительным. Отдохнув немного, я отправился в Пале-Эгалите, потом вышел из него по улице Бивье и дошел до улицы Сен-Фиакр.

В конце улицы Нотр-Дам-де-Виктуар, вблизи улицы Монмартр, в очень пустынном месте я увидел двух людей, которые наскачивали друг на друга, валяли на землю и душили друг друга. Я подошел.

— Убирайся прочь,—сказали мне.

Слабый и безоружный, я удалился.

„А“, подумал я вслух, „Париж кишит еще не меньшим числом негодяев, чем при старом режиме... Но старого режима-то я, разумеется, не жалею, уж слишком много было насилий!“

— Ты хорошо сделал, что прибавил последнее слово старик,—сказал мне молодой национальный гвардеец, хорошо вооруженный;—иначе я принял бы тебя за аристократа.

Он пошел со мною, и мы разговорились.

— На ком сильнее, чем на мне, отразились насилия старого режима?—сказал я ему.—Я был свободен в Париже всего несколько лет: с конца 1765 до начала 1766, от середины 1767 г. до мая месяца 1769 г. С этого момента рука деспотизма опустилась на меня и преследовала меня до 1785 г. Все дни мои проходили в волнениях, все ночи без сна; при малейшем стуке кареты, останавливающейся у моих дверей, я думал, что Эмери (инспектор книгопечатания) прислал меня арестовать. Я не печатал, однако, ничего без пометки цензуры, но меня убедили в 1776 году, что цензор не спасает от Бастилии. Полицейский Гуиль; с приказом, подписанным начальником полиции Альбером, отвел бы меня туда за моего „Крестьянин“, если бы, будучи предупрежден одним из его приверженцев, я не уплатил взятки.

— Я создал себе смертельных врагов из канцеляриста Демароля и полицейского Гуиля моим „Контр-предупреждением литераторам“ в ответ на „Предупреждение Фальбера“, по вопросу о книжной торговле, из которой эти мелкие чинь хотели сделать себе источник богатства. В 1783 г., преданный Террасоном, которого я считал своим другом, я увидел свою „Крестьянку“, отпечатанную и с изготовленными эстампами, перемаранную запрещениями. Я был разорен. Я ждал два года перемены управления; Вильдейль сменил собою алчного Невиля; вместо вероломного Террасона, воспитателя маркиза де-Лувуа, Вильдейль дал

мне иного цензора, чем ничтожный и низкий Санси, тайно назначенный цензором моей „Школы отцов“ и погубивший эту книгу; моя „Крестьянка“, равно как и мое существование, были с тех пор спасены. Беды мои кончились, я стал менее рабом... Я этим пользовался. Затем начались волнения. Сначала дело кардинала Ожерелье (кардинала де-Роган), затем Нотабли, потом Калони, Неккер, наконец Генеральные Штаты, Национальное Собрание, Революция, первая, вторая и скоро третья. Все было потрясено. Я потерял все, что имел, из-за издания денег, отсутствия покупателей, отсутствия читателей; я отпустил всех рабочих, которым давал работу, я сделался сам одновременно и автором, и наборщиком, и фальцовщиком, и брошюровщиком, и книгопродавцем, и расклейщиком объявлений, и разносчиком. А человек, выполняющий так много профессий, делает их все плохо. Это случилось и со мною. Я совершенно погибал, когда в январе месяце на помошь мне явился великолепный человек. Да будет он благословен! Это г. Арто, которого вы знаете (Франсуа Арто, который сделался директором Школы Изящных Искусств и Лионского Музея).

— Но я говорил вам только о себе. Сделаем теперь общий обзор всех злоупотреблений старого режима:

1. Двор: его расточительность, безнравственность, подаваемый им дурной пример, его презрение к человеческому роду, к среднему и мелкому дворянству, к разночинцам.

2. Министры: их властолюбие, их жестокости, их алчность, их хищения, их опустошения.

3. Интенданты: хуже министров, так как у них было менее власти; они были более метительны, более свирепы;

4. Чиновничество: ненасытные разбойники, угнетатели, которые дышали, мыслили, говорили, писали, читали, работали, отдыхали, ели, пили, спали, ласкали женщину, только для того, чтобы делать зло; они всегда смотрели на живое существо,—будь оно молодо, старо, красиво, безобразно, остроумно, глупо, зло или благостно,—только с целью причинить ему зло; никогда еще не существовало дикого зверя, более жестокого, более жаждавшего крови, чем они жаждали слез, и особенно денег. Я обличаю мое перо в горечь, когда пишу об этих негодяях, и дрожу, чтобы наши новые судьи не походили на них.

„5. Мелкая сопка: ах, от нее мы еще не освобождены, и здесь мы ничего не выиграли с Революцией. Алчный прокурор существует под другим именем; гнусный адвокат продолжает и писать, и болтать; он попрежнему лжет перед правосудием; судебный пристав исполняет судебные постановления и попрежнему возбуждает требования, вызовы на суд, приговоры; попрежнему производит описи, продает мебель, поглощая ее стоимостью ценой издержек; предательствует в пользу покупателей на аукционах, при конфискациях, или после кончины граждан: прочтите мой „Тесмограф“, где я привожу все эти плутни; они все те же. Мы еще не страхишли с себя самого тяжкого ига...“

„6. Налоги: налоги тяжелее, — правда, что у нас ужасная война... Я плачу 70 ливров; я платил 36 копеек, в качестве всего обложения, когда был подмастерьем у типографа. Я плачу 35 или 40 ливров за труд над моим собственным сочинением, у меня на квартире. Я разорен, а между тем плачу больше. То же положение наблюдается в провинции. Крестьяне, которые избавились от десятины, — единственные люди, получившие облегчение. Но зато это облегчение есть все, это свобода вместо рабства. Деревенский житель сделался человеком только со временем Революции, и он является им во всей полноте слова, исключая приставов и прокуроров.“

„7. Охота: какие чудовищные насилия существовали в прежние времена в этой области! Ради удовольствия дворянин, гордеца, глупца и преисполненного всевозможных пороков, деревенский житель был поставлен ниже диких зверей; он был вынужден смотреть, как эти звери пожирали его урожай, не имея права даже прогнать их; охотничий смотритель сказал бы ему: „Они у тебя, надо их тут оставить; почему хочешь ты согнать их к другому?“ Этот гнусный дворянин ограничивал ради своего удовольствия существование человеческого рода и обрекал на уничтожение целые поколения, на голод — уже существовавшие, ради того, чтобы иметь удовольствие стрелять и кушать какого-нибудь зверя, опустошающего поля!. Это еще не все: этот вельможа отягощал мирных деревенских жителей не только своими смотрителями охот, но и своими фискальными уполномоченными, своими судьями, которые были обязаны быть несправедливыми, чтобы ему понравиться, чтобы ему угодить или чтобы удовлетворить его алчность или его злобу. Между тем, здесь, на нашем Итальянском Театре, добрым всегда изо-

брахался вельможа, судья же всегда был злым; это было пугало, и никогда не было вопроса о фискальном уполномоченном, который был у помещика своим человеком, и без которого судья ничего не смел. Откуда эта осторожность?.. Злоупотребления и насилия старого режима во всем, что касалось крестьян, были столь же чудовищны, сколь и неразумны; но надо было поддерживать помещиков, так как короли сами были помещиками; у них у самих были охоты, еще более гибельные, чем охоты помещиков, которые назывались словом, вызывавшим всеобщий трепет: „Забавы короля“.

„8. Священники: под этим словом я разумею все духовенство. Старый режим, стремившийся все эксплуатировать и все обращать во зло, не исключая и суеверия, которое его поддерживало, тупо шел к уничтожению этого самого суеверия, покровительствуя скандальному обогащению священников, епископов и аббатов. В чем „крылась причина этого?“ Двор хотел иметь возможность раздавать награды своим любимцам и своим любовницам; он рассчитывал на ослепление народа, который будет слушать проповедь аббата Мори или аббата Калони с тем же доверием, как и проповедь святого отца, каким был священник Куржи (в Ионне, где Ретиф родился и воспитывался); он больше расчитывал на речи этих негодяев, чем на речи хорошего священника; негодяй никогда не ополчался против насилий, он только сгущал мрак невежества и суеверий. То, что на первый взгляд может показаться непоследовательностью, в сущности было довольно тонким расчетом, расчетом, конечно, времененным, но его всегда хватало до тех пор, пока в городах весь народ не становился сознательным. В один миг, — как только можно было говорить свободно, — священники впали в глубочайшее презрение; но они удержались еще кое-где в провинции, особенно в глухих местах, как Вандея, Сентонж и весь древний Пуату. Мори и Калонны могут и должны еще иметь там наибольший успех, между тем как священник простой и строгих нравов будет преследоваться и не будет пользоваться доверием. Итак, двор поступал неумно, и только благодаря тому, что он обращался к людям, которые ни на что не смотрели серьезно. Почему сегодня, 13 апреля 1793 г., верю я в устойчивость нового порядка, несмотря на неминуемые опасности, которые ему угрожают? Именно потому, что восстановление старого невозможно! Двор, восстановленный силою, никогда уже не

смог бы восстановить свое духовенство, свои парламенты, своих интендантов и пр. Насилие не может продолжаться вечно, и в ту минуту, как народ начинает осознавать себя, деспотизм гибнет.. Я постоянно говорю бывшим дворянам:

„Не обольщайтесь тщетной надеждой! Если вас восстановят, то тем хуже для вас! Это значит обречь вас на полное уничтожение. Века бегут, повторяясь, но в то же время и постоянно меняясь. Монархия и феодальный строй исчезнут навсегда, именно потому, что они уже черезчур долго длились..“

„9. При старом порядке было множество других злоупотреблений: привилегии, освобождавшие богачей от обложения; дорожные пошлины, стеснявшие торговлю; пошлины на соль, лишившие винодела возможности когда-либо пить вино, и зачастую обрекавшие его на сухой хлеб с чесноком, без соли; протекции, заставлявшие бедняка проигрывать все спорные дела, которые несправедливо вчинялись против него; барщины, как общественные, так и помещичьи, отнимавшие все время у бедняков, которым уже нечего было продавать, кроме своего времени; постепенное подчинение низших классов всем остальным, так, что в силу обратного порядка в природе, высший класс был всех легко веснее. В этом—ближайшая причина той крайней дерзости, с которой ведет себя в настоящее время низшее население; оно мстит тем классам, которые всех теснее к нему примыкали.. Отсутствие прав у подданных, которые не могли считать себя гражданами, и пр. и пр.—все это уже прочувствовано и осознано, и после этого говорят, что старый порядок может вернуться! Это немыслимо!..“

— Я не буду уже говорить о здравом смысле—о нем всего менее заботятся — который уже давно восстаёт против наследственного дворянства!.. Если бы еще ввели (как в моем „Антрапографе“) постепенное разжалование тех дворян, которые не подновляют своего дворянства добрыми или благородными делами!.. Но нет, длинная череда глупцов и извергов передавала потомкам все более и более благородную кровь. Я не раз замечал, что желание иметь черезчур много ведет к утрате всего. Я уже указывал на эту истину, говоря о нехристианских и отступнических богатствах духовенства. Двор оставил их за ними вследствие изложенных причин; а еще и за тем, чтобы покровительствовать дворянству, младших сыновей которого он брал на содержание, путем отдачи им аббатств [и епископств]. Этим путем дворяне имели

все: и феодальные права, и власть над совестью граждан; они же занимали и высшие судейские посты, на которых имели удовольствие колесовать, жечь, вешать, бичевать и клеймить разночинцев; чернить их, раззорять и сверх всего развращать их жен и дочерей! Нет, это было уж слишком!

XXX.

Измена Дюмурье (2—4 апреля 1793 г.).

Наши успехи прекратились в конце февраля 1793 года, а наши потери были так стремительны, что заставляли терять голову.

Взятие обратно пруссаками Франкфурта было нашим первым ударом. Вторым ударом была та бура, что отнесла корабль Трюже от берегов Сардинии (21 февраля). Третий удар был ужасен. Мы были погружены в полнейшее спокойствие; наши армии, как нам говорили, покоряли Голландию. Нас морочили; и в то время, как мы считали, что грозный враг стоит у ворот Амстердама, горящего нетерпением открыть их перед ним, негодяй вел переговоры с эмиссарами Фридриха-Вильгельма и Франциска! Да будут прокляты изменники, да будут прокляты аристократы в тылу, радующиеся несчастиям родины!..

Четвертый удар был нанесен нам в Э-ла-Шапель, где наши войска были окружены, вследствие измены генералов, по большей части действовавших заодно с гнуснейшим из людей, с бесчестным Дюмурье!.. Комиссары Конвента в Льеже видели этот удар; они поспешили вывезти из этого города казну... Льеж, наш брат, наш союзник, вновь подпал власти своих тиранов. О, Льеж, я оплакиваю тебя, как мою родину! Нас обманули. Предатель Дюмурье, забавлявшийся в Голландии, заявлял всенародно, что он защитит остальную Бельгию, и, изменник, предал ее! Лувен, Малин, Брюссель, фанатический Брюгге,—все было отдано, вплоть до Антверпена и Остенде. Даже и там сомнительный адмирал Моретон, вместе со своими кораблями, выдан английскому и голландскому флотам. Бреда, Гертруденберг (1 апреля) эвакуируются и предоставляются ярости штатгальтера!.. Правда, Дюмурье спасает нам честь; без его измены, снимающей с нас вину, мы были бы унижены в глазах всей Европы, всего мира, и заслужили бы участь несчастной Польши..

Наконец-то изменник сбросил маску! Не довольствуясь тем, что он не повиновался Конвенту, он совершил еще глупейший поступок; он совершил самое страшное преступление, он приказал схватить комиссаров (1 апреля) и в закрытой карете отправил их в Турне, неприятельскому генералу, герцогу Кобургскому, который, если задержит их, то равняется в низости Дюмурье!.. Я пишу все это 5 апреля, и жду дальнейших событий...

2-го апреля вечером, стал известен протокол, обвинявший комиссаров исполнительной власти. Никто не хотел ему верить. Вечером 3-го апреля стало известным все, что я рассказал здесь. По получении этих ужасных вестей, весь Париж высыпал кучками на улицы. Я подошел к тем группам, которые мне попались, чтобы ознакомиться с общественным мнением. Я убедился в том, что группа у моста Сен-Мишель стояла вокруг подкупленного агитатора, всячески старавшегося ввести ее в заблуждение. Я шепнул несколько слов рассудительным гражданам, которые от него отошли и ушли с собою еще несколько человек. Группа на Новом Мосту была составлена гораздо лучше. Она вся дышала согласием и единодушием; группа на площади Труа-Мари (на набережной, между улицами Моннэ и Пон-Нёф) была возбуждена; но мне не показалось, чтобы в ней были разбойники; я слышал только довольно много недисциплинированных рабочих, которым хотелось поднять заработную плату до такой высоты, при которой совершенно невозможно работать, если только на свете не останется всего одна нация и, следовательно, не будет никакой конкуренции. Ибо когда в стране заработка плата чересчур высока, все искусства и ремесла в ней падают; граждане покупают все за границей, а зарубежные страны не могут торговаться с страной, где труд чересчур дорог. Вот чего не понимают многие рабочие. Ничто так меня не раздражает, как невежество и тупость... Сказать им это на улице, когда они стоят кучкой: они вас не поймут. Вас никто даже не выслушает, ибо для этого нужно спокойное обсуждение... Но группа была хорошо настроена по отношению к общенародным делам.

Дворец Равенства вишел народом; но и это было ничто в сравнении с Тюильери! Повсюду одни и те же разговоры; повсюду в одних группах искусственное возбуждение, в других—просто честные люди...

* * * * *

XXXI.

Торжество Марата (24 апреля 1793 г.).

Предшествующим декретом было возбуждено обвинение против Марата. Был издан приказ об его аресте. Он не считал себя обязанным повиноваться. Казалось, что он рабски подражает Сократу. Разве не лучше быть оритинальным? Он заявлял даже, что не подчиняется декрету из величодушия. Он хочет избавить своих врагов от преступления! Он был прав: последующее показало, что это было преступлением, так как Марат был истинный патриот. К каким средствам ни прибегает невинность, когда хочет предотвратить ложный шаг, который ей не нравится!.. Революционный трибунал не заставил Марата ждать. Пришел и его черед. То не был суд. То был триумф. Он явился, окруженный стражею; женщины, известные своим патриотизмом, засыпали его цветами. Они же ввели его в зал заседания. Марат, сев, где хотел, отвечал, как хотел; он задавал даже вопросы судьям. Все, что он ни делал, было сделано хорошо, все, что он ни говорил, было сказано умно. Все, что он писал, было глубоко и мудро; что же касается того, что в его писаниях было преувеличенногого, то, быть может, сбытия и это подтвердили. Он оправдался во всех обвинениях; ему присудили гражданский венок. Он возвращался с торжеством, ведомый по улицам, как Мардохей; не хватало того, чтобы его обвинители подверглись участии Амана... Впрочем, за этим дело не станет... Ах, кто сможет простить „Вечерней Газете“, что она напечатала его защитительную речь, с явным намерением ее ослабить? Какая низость! Разве так следует относиться к патриотам?...

Когда 31 мая, 1 и 2 июня будет поднят вопрос об аресте и об изгнании из Конвента 22 или 32 членов, Марат не будет издеваться над участью наказанных. Мы увидим, что он сам добровольно исключит себя из Собрания, и в результате поведения, которому не было еще равного, соединит с ролью обвинителя роль обвиняемого! Никогда еще не было ничего подобного. Это явление беспримерное. И он будет исполнять эту роль весь остаток своей изумительной жизни.

* * * * *

XXXII.

День 31 мая.—Нападение на Конвент (2 июня 1793).

31 мая—день, отмеченный в моих Анналах... Я лег спать спокойно, хотя и видел большое движение на улицах, возвращаясь из кафе Манури. В три часа ночи слышу со всех сторон звуки набата, как 10 августа прошлого года... Я не знал, что это значит. Заснуть я больше не мог. В четыре часа весь квартал был уже на ногах. Я слышал, как постучали в дверь к нашему капитану, который высунул голову из окна и сказал жалобно:

— Нельзя стучать в двери!

Тем не менее, он встал. Вскоре я был также на ногах, спустясь вниз, я осведомляюсь. Мои товарищи не знают, что приводит их в движение.

Что касается меня, то у меня были некоторые подозрения, но никакой уверенности не было. Сверх того, не будучи посвящен в различные интересы и планы наиболее известных из членов Конвента, которых я считал истинными патриотами, так как я сам восхвалял их в качестве таковых,—я был очень далек от того, чтобы вообразить себе случившееся... Весь день народ не расставался с оружием. Часам к девяти вечера здание Конвента было обрученено войсками и пушками. Все были изумлены. Предполагали, что Парижская Коммуна хочет оказать давление на Конвент; позже узнали, что это делалось, чтобы помешать аристократам и всякого рода злонамеренным людям вмешаться в дело.

Меж тем, Петионы, Гадэ, Верньо, Ланжюинэ подняли крик, что их лишают свободы. Лакруа и еще несколько членов партии Горы, дойдя до дверей, чтобы выйти, были втолкнуты в залу обратно какими-то усачами, не похожими на обычную стражу. Они вошли, испуганные, и с жалобами. Кем поставлены эти люди? Это могло быть только одним из Комитетов Конвента или Коммуной. Изгнать из Конвента неприкосновенных членов и этим путем подвергнуть опасности и самих себя,—было опасным шагом.

Так 31 мая началось дело. Петион, Гадэ, Ласурс, Бриссо, Ланжюине, Верньо, Бюзо, и др. были обвинены в измене, меж тем как мы считали их истинными патриотами и опорой свободы. Они обманули нас. Последующее поведение их доказало их вероломство. Они собирались разорвать

грудь матери. Они причинили отечеству неисчислимые бедствия: Кан и Кальвадос были возвращены; но Лион был потерян; Марсель, Бордо почуяли опасность; а трусливые тулонцы предались нашим постоянным и наиболее опасным врагам,—коварным англичанам.

В ближайшие дни, 2 и 3 июня, были назначены двенадцать членов так называемой Комиссии Двенадцати, в которой, среди прочих, находился Рабо (Рабо-Сент-Этьен). Эта комиссия приказала арестовать члена муниципалитета Гебера, и это послужило началом больших волнений. Якобинцы увидели, что преследование было направлено против горячих патриотов; не исключались и такие, как мэр Шаш, выступавший против той части Собрания, которая именовалась Долиной, в противоположность партии Горы. Собрание, происходившее у мэра, было оговорено перед Конвентом, как заговор против Конвента... Последствия всего этого известны: временное восстание западных провинций, Бордо, Марселя... Но кто скажет, каким худшим бедствиям могли бы мы подвергнуться?.. Быть может, в настоящую минуту, Республика, разорванная, низложенная, уже была бы добычею тиранов!.. Итак, будем благодарны Горе, предупредившей нашу конечную гибель, и постараемся возместить понесенные нами потери.

XXXIII.

Убийство Марата (13—17 июля 1793).

Пройдем мимо известных событий,—восстания нескольких департаментов, которые, впрочем, вскоре раскалились; бегства нескольких членов Конвента, подвергшихся домашнему аресту, и их проделок в провинции, куда они бежали; дневного обыска во Дворце Равенства и пр. Оставим в стороне равным образом то, что касается наших армий и что выходит из круга зрения „Ночного Наблюдателя“ улиц Парижа. Сегодня 13 июля.

Я вышел вечером, в 8 часов. Зашел к гражданину-издателю, продающему мои „Ночи“. Там ничего еще не знали об ужасном событии. Достигнув Нового Моста, я услыхал, как один торговец, запирающий лавку, сказал торговке:

— Она хотела бежать. Ее задержали в дверях. Он скончался.

Я не знал, что это должно было означать; сверх того, первое сообщение было неверно... Я отправился в кафе

Робер-Манури. Там сотни уст передавали уже подробности ужасного события. Но, передохнем минуту.

С самого 1789 года я постоянно слышал о гражданине Марате. Я ужинал в улице Турнон, с людьми, которые его знали: будучи искусственным химиком, этот физик сделал большое открытие. Физике он обязан了自己的 первыми успехами в медицине. Слава о нем распространилась в Париже так быстро, что на второй год своей деятельности он заработал 40.000 франков. Но все честное, без шарлатанства, в Париже надоедает. На третий год его покинули, а на четвертый год он приступил к издаванию газеты, носившей название «Друг Народа». Известно, что было далее, как преследовал его Лафайет, который, опираясь на всю вооруженную силу, не мог овладеть этим одним человеком. Удовольствовались тем, что разгромили его типографию; это было первое насилие над свободой печати.

Марат долго скрывался, так что три четверти мира считали его существом воображаемым... Наконец, он появился в ярком свете Национального Конвента. С этой минуты сомневаться в его существовании было уже невозможно. Предубеждение против него было всеобщее, и его собственные друзья, одно время, сочли себя вынужденными покинуть его. Тем не менее, он удержался. Наконец, Комиссия XII-ти декретировала привлечение его к суду, как я рассказывал выше: статья об этом была написана и даже отпечатана в самую минуту его торжества. Он вышел победителем. Чего недоставало, чтобы искусному физику, талантливому врачу, пылкому патриоту Марату вернуть всю чистоту его репутации? — Смерти, — и смерти патриотической, которую он получил 13 июля 1793 года, между 7 и 8 часами вечера.

Немного найдется столь славных кончин. Ле-Пелетье был убит Пари, — негодяем, наемным убийцей, всеми презираемым. Марат, напротив, поразил воображение молодой интересной девушки, которая восхищалась бы им и запищала бы его, если бы узнала его ближе. Его жизнь была прервана не позорящей, не бесчестной рукой; извергом оказалась девушка добродетельная, как бывают добродетельны только женщины, то есть чистая. Казалось, что жизнь этого человека, сжигаемого священным огнем патриотизма, должна была быть прервана лишь рукою девственницы... В 7 часов вечера, Мари-Анна-Шарлотта Корде пришла к гражданину Марату которому раньше написала письмо: письмо это, если

оно подлинное, является уликою ее преступления, так как в этом письме она его обманывала. С нескончаемыми трудностями и в силу приказания самого Марата, добралась она до него. Ее внешность, ее речи, — все внесло успокоение. Женщины покинули больного, сидевшего в ванне, а Мари-Анна-Шарлотта едва уловив подходящую минуту, вынула продолговатый нож, купленный ею только что в Шалеролле, и погрузила его в грудь патриота, который произительно вскрикнул и через несколько минут испустил дух. На крик прибежали; Мари-Анна-Шарлотта, в первом движении ужаса, завернулась в оконную занавеску, где ее скоро нашли. Прибежала стража; свидетель-очевидец, гражданин Лаферте, присутствовавший при составлении протокола, во время пуги в тюрьму Аббей, слышал, как Мари-Анна-Шарлотта во всем созналась. Когда она вышла, чтобы идти в тюрьму, она лишилась сознания. Придя в себя, несчастная сказала с изумлением: «Как? Я еще существую? Я думала, что народ разорвет меня на куски».

Она оставалась в тюрьме с ночи с 13 на 14 июля и до вечера 17, когда она была казнена, на следующий день после похорон своей жертвы. Она написала отцу, прося у него прощения за то, что обманула его, сказавшись, что едет в Лондон. На это письмо, впрочем, смотрят просто как на предосторожность, имевшую целью оправдать отца... Эта девушка заслуживала смерти. Она это чувствовала. Но откуда столько мужества, — которым с ужасом восторгался весь город, — проявленного ею после преступления? Не есть ли то исключительный удел добродетели? Как могла она, в этот век амазонок, не понять того, что женщина-убийца — самое страшное из чудовищ? О, женщины, стремящиеся быть мужчинами, и вы, женоподобные мужчины, которые их к этому поощряете, — преступление Мари-Анны-Шарлотты столь же ваше преступление, сколь и ее... Когда голова была уже отрублена, палач нанес ей пощечину. За это его наказали и посадили в тюрьму. Не дело палача прибавлять что-либо к приговору.

XXXIV.

Празднование Республики (10—28 августа 1793 г.).

14 июля было посвящено трауру. С общего согласия праздник Республики был перенесен на тот навсегда памятный день, когда во Франции была уничтожена монар-

хия. Все департаменты были уведомлены, и все явились, несмотря на семена раздора. Лион, несчастный город, в то время еще благоразумный, прислал тридцать четыре депутата; Тулон, бесчестный Тулон, также прислал своих депутатов, чтобы лучше обмануть... Но депутаты Лиона уехали на кануне праздника, будучи предупреждены своими сообщниками; ибо аристократы уже овладели городом и были в нем хозяевами... Праздник был великолепен, и никто не заметил отсутствия лионцев. Подробности этого торжества можно найти повсюду.

XXXV.

Казнь Кюстина (28 августа 1793 г.).

Тем временем командующий Северной армией был вызван в Париж. 22 июля он был арестован и посажен в тюрьму Люксембург; предстал перед революционным трибуналом 15 августа; осужден 17 августа, в 8 часов, и казнен 28 августа между 10 и 11 часами утра... Насколько Мари-Анна-Шарлотта выказала себя мужественною, без аффектации, настолько же Кюстин оказался сраженным. Приговор он выслушал с крайним изумлением. Он воскликнул: „Я? изменник?“ Выйдя из Дворца Правосудия, чтобы идти на казнь, он поднимал глаза и протягивал руки к небу, продолжая восклицать: „Я—изменник?“ Далее он занимался только своим духовником. Прибыв на место казни, он выказал все возможные признаки благочестия. Каковы этому причины?

У Кюстина, в минуту его смерти, было 25.000 ливров, которыми воспользовался тюремный сторож, обвинив в этой краже священника; священник был арестован. Когда он оправдался, то в тюрьму посадили тюремного привратника. Не знаю, как он был наказан впоследствии...

XXXVI.

Обвинение жирондистов (3 октября 1793).

События, последовавшие за 7 сентября, были: поражение англичан при Дюнкерке (8 сентября 1793); преследование их нашими войсками, одержавшими победу вопреки генералам; арест генерала Гушара и почти всего штаба Северной армии; продолжение восстания в Лионе, близивше-

гося уже к концу (Лион был взят 9 октября), вероломный переход Тулона к англичанам (27 августа); возвращение Марселя, Бордо и пр.; 3 октября Конвент, в попытке очистить свой состав, декретировал обвинение сорока восьми членов Конвента, а именно: Бриссо, Верньо, Жансоннэ, Гадз, Дюперре, Карра, Сплери, Кондорсе, Фоша, Дульсе, Дюко, Буайе-Фонфред, Гамон, Мольво, Гардье, Валади, Люфриш-Валазе, Дюпра, Менвель, Боннэ, Шамbon, Лаказ, Делахэ, Лидон, Фермон, Мазюйе, Савари, Леарди, Гарди, Буало, Валле, Руйе, Антибуль, Ласурс, Испар, Летер-Бово, Дюшатель, Деверите, Дюлор, Гранженев, Дюваль, Виже, Бессон, Ноэль, Кустар и Андреи (следует прибавить еще Филипп-Эгалие),—в том, что они составляли заговоры против единства и нераздельности Республики, против свободы, равенства и верховных прав народа.

II. Конвент повелевает им предстать перед революционным трибуналом, дабы быть судимыми со всею строгостью законов.

III. Этим декретом не изменяется ничего в том декрете, который объявляет изменниками отечеству Бюзо, Луве, Горза, Четиона и других.

IV. Депутаты, подписавшие контрреволюционные адресы и протесты, 6 и 19 июня, против дней 31 мая и 4 июня и против изданных в то время декретов, будут подвергнуты аресту, и о них будет сделан доклад Комитетом общественной безопасности.

Билло-Варени: Я требую, чтобы Филипп Орлеанский, один из главарей заговора, был включен в декрет обвинения. Я требую, чтобы этот декрет против депутатов-заговорщиков был прочитан торжественно, с перечислением депутатов поименно.

Другой член Конвента требует, чтобы в декрет с обвинением включили всех депутатов, подписавших протест против 31 мая. „У них не было“, говорит он, „другой цели, как зажечь гражданскую войну“.

Робеспьер: „Поименно перечислять депутатов нет надобности. Я не вижу необходимости предполагать, чтобы Конвент разделился на две части. Мы должны предполагать, что здесь нет больше изменников. Я считаю также в настоящую минуту бесполезным декрет с обвинением тех депутатов, которые только подписали протест. Надо прежде всего сразить главарей. Их казнь должна ужаснуть тех, кто захотел бы им подражать. Между этими подписавшими

есть лица обманутые, которые оказались лишь жертвами наиболее преступного и коварного из заговоров, который, когда либо существовал".

Решают поднятием с мест. Все эти депутаты, равно как и те, которые были арестованы, и имена которых здесь не приводятся,—будут переведены в тюрьмы.

По предложению Билло-Варенна декретируется, что Мария-Антуанетта будет судима на ближайшей неделе.

Таково положение вещей 9 октября 1793 года.

XXXVII.

Политические взгляды автора.

Как я говорил вначале, я написал этот труд по мере того, как события развертывались, и он печатался очень долго. В нем я пытался отразить более общественное настроение, чем мое личное; но здесь я должен представить и мои взгляды во всей их отчетливости:

Я считаю, что истинное представительство нации заключается в партии Горы; что якобинцы и патриотические клубы того же направления, те, которые думают, как они, суть истинные патриоты; что Петионы и т. д., которых так восхваляли год тому назад, были предателями; что Марат, Робеспьер и т. д. спасли отечество; что казни 2, 3, 4, 5 сентября были, к несчастью, необходимы, особенно в том, что касалось священников, отвергших присягу, светских контрреволюционеров и пр.; что смерть Луи Капета была справедлива и необходима, и что, защищая его, как здесь было сказано, следовало не спасать его, а только доказать народу, что в его интересах было, чтобы погиб последний французский тиран; говоря, что он не тиран, так как родился на троне, я имел в виду лишь указать на то, что он не вступил на трон насилием; но теперь существует убеждение, что все французские короли должны называться тиранами; что дни 31 мая, 1, 2, 3, 4 июня и т. д. и день 3 октября, послуживший их продолжением,—спасли отчество; что преступление Марии-Антуанетты, Бриссо и пр. несомненно; и что Парижская Коммуна свою силой, своим рвением и своим нылким патриотизмом оказала огромные услуги всей Республике.

XXXVIII.

Процесс и смерть Марии-Антуанетты.

События, имевшие место за последнее время, суть следующие: 6 октября 1793 г. вечером был арестован бывший депутат Горза. На другой день, 7-го, он был отведен в революционный трибунал, с тремя свидетелями, для удостоверения, что он и есть именно Горза. Ему объявили, что он поставлен вне закона, и что к нему применяется декрет, в силу которого он присуждается к смертной казни. Он хотел говорить, сказал, по слухам, что его „смерть будет вскоре отомщена“. Президент ответил всего двумя словами: „Уведите обвиняемого“. Он был казнен в три часа.

Утром того же дня были казнены двое близнецов, осужденных за контрреволюцию. Вместе с ними, но не будучи их сообщницей, хотя и виновная в том же преступлении, была казнена Шарлотта Вотан, молодая девушка двадцати двух лет, встретившая смерть мужественно, без напутствия духовника.

На второй день третьей декады 1 месяца (воскресенье, 13 октября) Мария-Антуанетта подверглась тайному допросу.

На следующий день была получена весть о присоединении к Республике Лион (взят 9 октября); четыре тысячи аристократов бежали через квартал Вез, но их преследовали, и полторы тысячи погибли. У них отняли казну, которую они увозили; окрестные жители, повидимому, истребили остальных. Одержанная победа в Вандее, где взяли обратно Шатильон (8 октября). Пантские депутаты явились с объяснением чересчур медленных успехов республиканского оружия в Вандее.

4-го третьей декады Мария-Антуанетта предстала перед революционным трибуналом. Эта высокомерная женщина вконец почувствовала, во всей силе, древнее изречение: „Ни что человеческое мне не чуждо...“, ни даже горе и стыд... Она их заслужила.

Мария-Антуанетта отвечала на вопросы короткими „да“ и „нет“; иногда она добавляла:

„Это не так.“

Между прочим, один ответ был дан ею в письменной форме. Президент заметил, что это не в обычae, и переслал

ей ее ответ обратно через защитника. Она ответила устно, не читая по бумаге. Это относилось к тяжкому обвинению ее по поводу сына.

Допрос, начатый 3-го (14 октября), продолжается 4-го и кончается 5-го, в три часа утра (16 октября). Ее судили в четыре часа. Ее отвели в ее тюрьму. Она спросила двух своих защитников, достаточно ли достойно она отвечала.

Вуллан, от имени Комитета общественной безопасности, потребовал, чтобы задержали обоих защитников, с целью узнать, не поведала ли она им какой-либо тайны. Они уверяли, что она сохранила полное молчание. Она легла спать и проспала около двух часов. Она пила шоколад. Она провела два часа со священником. Ее одели в белое; узкая черная лента придерживала ее чепчик. Она не попросила повидаться с детьми.

Она вышла из Дворца Правосудия в одиннадцать с половиною часов. Она потребовала карету. Ее усадили в карету вместе со священником, седым стариком. Она держалась необычайно прямо и не говорила со священником особо, хотя иногда и отвечала ему. Она должна была быть бледна, как каждая женщина, которая сильно румянилась и которая прошла через большие душевные муки. Она была казнена на площади Революции, перед статуей Свободы, в двенадцать часов с четвертью, за то, что постоянно противодействовала Революции, держала в Париже австрийский Комитет, склонила мужа к бегству в Варену, по возвращении не переставала устраивать заговоры, соблазняла членов Законодательного Собрания, чтобы добиться пересмотра Конституции, чтобы подорвать ее влияние, и т. д. "Она была обвинена еще в одном тяжком преступлении, о котором сказано выше. Когда ей предложили ответить, она ответила отрицанием и прибавила, бросая взгляд в народ: "Это невозможно; я ссылаюсь на всех матерей". Она не отклоняла, как Мария Стюарт, суда. Через некоторое время все подробности будут точнее известны. Ее тело было тотчас же унесено и опущено в известь.

По слухам, она лишилась сознания в минуту казни. Арестовали одного бывшего жандарма, который смачивал свой платок в крови. Минута возбуждения—погибшая жизнь.

8-го третьей декады (19 октября 1793 года) было получено известие о снятии блокады с Мобежа.

Да погибнут все тираны, короли, королевы, ландграфы, маркграфы, цари, султаны, далай-ламы, паны и пр. и пр. и пр. Аминь.

С тех пор как было кончено печатание, события развивались чрезвычайно быстро. Известно, что восставшие вандейцы, разбитые в Мортани и в Шоле, бросились на остров Нуармутье, где были приняты вероломными обитателями. Но, изгнанные из Бопрео и из Ансени, они удержали за собою только это прибрежье, откуда они, быть может, теперь уже изгнаны, так что Вандея вся уничтожена. Эта плодородная страна, населенная, однако, суеверным и грубым народом, легко способным заблуждаться, представляет собою не более, как груду развалин. Итак, у контр-революционеров нет более ни Лиона, ни Вандеи. Бордо только что изъявил самый горячий патриотизм; наша северная армия, прогнав неприятеля из окрестностей Мобежа, мощно преследует его, меж тем, как другая колонна, взявшая Фурн, подвигается к Ньюпорту, и, быть может, возьмет и Остенде...

Сегодня, секстиди 1-ой декады второго месяца (27 октября старого стиля) уже третий день, как двадцать-два депутата, обвинение которых декретировано, находятся в революционном трибунале. Верньо вчера, кинтиди (26 октября), произнес горячую речь, продолжавшуюся час с четвертью; но я не имею о ней никакого представления, так как не мог ее выслушать.

Генерал Карто 22 октября (старого стиля) одержал значительную победу над мятежными тулоңцами. Шесть английских кораблей были повреждены, и теперь чинятся. Он уничтожил у них около трехсот человек. Таким образом, мы на пути ко взятию обратно этого важного пункта...

Король прусский покинул свою армию, оставил ее под командою герцога Брауншвейгского, и стал во главе той, что должна обеспечить ему захват части Польши.

Герцог Кобургский разбит под Мобежем. "Если французские республиканцы меня разобьют здесь, то я сам сделаюсь республиканцем". Он был разбит, и вдобавок еще он имел низость получить из рук вероломного Дюмурье четырех депутатов, которых до сих пор держит в плену.

Новый календарь Республики был введен (декрет от 5 октября) на первый месяц, начиная с 22 сентября (старого стиля), которое превратилось в 1-й день 1-й декады года II Республики, иначе говоря, 1-е вандемиера.

Вчера, сектиди 6 брюмера (воскресенье 27 октября 1793 г.),
били в барабаны, чтобы заставить открыть лавки, которые
сторонники прежнего воскресного дня держали запертыми.

Мне остается только привести приговор революционного трибунала по отношению к 22(21) депутатам, представшим перед ним в настоящую минуту. 22 депутата - изменника, присужденные к смерти вчера, пониди, в десять с половиною часов вечера (30 октября), были казнены в полдень. Один из них, Валазе, убил себя во время чтения приговора. Остальные повскакали со своих мест в ярости и побросали свои ассыгнаты. Они шли на смерть с наружною бодростью; девятеро из них, в первой повозке, пели песни; Карра хранил вид тупого изумления; у Силлери и Фоше был духовник; Верньо перед казнью хотел говорить; барабаны заглушили его голос. Так кончили те, кто не захотели прямо и честно идти вместе с Революцией.

Есть известие, 1 декади брюмера (31 октября 1793 г.),
что мы уже в Монсе, и что шансы на вступление в Тулон
увеличиваются...

Да здравствует Республика! Да здравствует Гора!